

Павел Бирюков

**Биография Л.Н.Толстого.
Том 2. 1-я часть**



Павел Иванович Бирюков

Биография Л.Н.Толстого.

Том 2. 1-я часть

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=22203651
Биография Л.Н.Толстого. Том 2. 1-я часть: 1905

Аннотация

«...Как и перед писанием первого тома, я снова остановился в нерешительности, когда принялся за перо. Меня пугала непропорциональность моих сил с громадностью и важностью предпринятой работы. Только поборов в себе все соблазны самолюбия, готовый на всяческое осуждение, я, наконец, решился продолжать начатую работу. Я знаю, что, несмотря на все недостатки ее, я совмещаю в себе несколько благоприятных условий, которые, быть может, более не повторятся...»

Содержание

Предисловие автора	4
Библиографический указатель	9
Часть I. Период «Войны и мира»	13
Глава 1. До «Войны и мира»	13
Глава 2. История «Войны и мира»	31
Глава 3. «Война и мир» (обзор критической литературы)	52
Глава 4. Из частной жизни Льва Николаевича 60-х годов	85
Глава 5. Казнь рядового Шибунина	108
Часть II. Второй педагогический период.	138
Самарское имение. Голод	
Глава 6. Второй педагогический период. Азбука	138
Глава 7. Другие педагогические опыты	167
Глава 8. Поездка на кумыс в самарское имение. Письмо о голоде	212
Часть III. Период «Анны Карениной»	242
Глава 9. Происхождение «Анны Карениной» и предшествовавшие литературные опыты	243
Глава 10. Обзор критической литературы об «Анне Карениной»	259

Павел Иванович Бирюков

Биография Л. Н. Толстого.

Том 2. 1-я часть

Предисловие автора

Как и перед писанием первого тома, я снова остановился в нерешительности, когда принялся за перо. Меня пугала непропорциональность моих сил с громадностью и важностью предпринятой работы. Только поборов в себе все соблазны самолюбия, готовый на всяческое осуждение, я, наконец, решился продолжать начатую работу. Я знаю, что, несмотря на все недостатки ее, я совмещаю в себе несколько благоприятных условий, которые, быть может, более не повторятся.

Описывать этот период правильной, честной семейно-эгоистической жизни чрезвычайно трудно. Мало или вовсе нет выдающихся фактов. То, что в материалах (письмах, заметках, рассказах) описывается как интересный факт, то большею частью носит характер чисто семейный, интимный, и при выборе его всегда остается колебание, нужно ли опубликовывать этот факт или отнести его к области частной, интимной жизни, не подлежащей опубликованию. Конечно,

никто не проведет резкой границы между двумя группами такого рода явлений. И проведенная мною черта далеко не безошибочна. Очень буду рад, если меня кто-нибудь исправит в интересах самого дела, в интересах красоты и правды изображения всем нам дорогого лица.

Художественная творческая работа выводит художника из области личной жизни и приобщает его к жизни мировой, и она ускользает от взоров биографа. С другой стороны, и внутренняя субъективная работа художника не может быть вполне доступна биографу; большею частью ему бывает открыта только подготовительная работа художника, самый же процесс творчества навсегда и для всех остается тайной.

Я сделал попытку рассматривать эти факты как явления жизни самого Льва Николаевича, осветив их и с его личной точки зрения, насколько она мне была доступна, и как явления общественного характера, указав на главнейшие черты того брожения, которое вызывало в обществе читателей и критиков появление этих великих произведений. Конечно, и тут не обошлось без промахов, но я сделал, что мог.

Переходя к периоду духовного кризиса, я остановился в недоумении перед громадностью предстоящей мне задачи, перед тою ответственностью, которую я беру на себя выставлением этого огромного и глубокого события тою лишь стороною, которая видна моему несовершенному взору; но, не имея перед собой более опытного предшественника, я опять был поставлен в необходимость действовать по способности

и готов вперед признать большое несовершенство моей работы.

Я постарался из имевшегося у меня под руками материала выбрать все наименее известное, которое бы дополнило то, что уже известно, что поведал сам автор в своей неподражаемой «Исповеди», чтобы картина душевной жизни со всеми ее страданиями и радостями стала, если возможно, еще ярче, еще рельефнее, и самый момент, изображаемый ею, осветился бы с самых разнообразных сторон. И тут я, конечно, остановился в бессилии объективного наблюдателя, которому закрыты тайны субъективного сознания, и только лишь большая, сердечная близость предмета исследования могла дать мне некоторый ключ к пониманию тайны этого процесса.

Наконец, едва ли не самой трудной задачей этого тома было изображение ближайших моментов жизни Л. Н-ча 80-х годов отчасти вследствие свежести их в воспоминаниях всех живущих людей, отчасти вследствие того, что как раз в эти годы началась борьба Л. Н-ча с окружающей его обстановкой прежней жизни, – борьба, вызванная его душевным переломом.

Пользуясь разрешением графини и близких Л. Н-чу родственников и друзей, я получил доступ к их семейным архивам и прочел всю переписку за эти годы. И тут опять я много раз останавливался в недоумении перед тем, где провести черту между тем, что можно и чего нельзя опублико-

вывать. Много подводных камней пришлось мне обходить в моих изысканиях. Но я надеялся на моего надежного руководителя: любовь к правде и любовь к тем, чьи отношения мне приходилось изображать. И теперь я верю, что эта любовь благополучно вывела меня из опасностей и дала мне возможность сказать правду, не причинив боли тем, кто с душевными страданиями принимал живое участие в описываемых событиях.

Я не отчаиваюсь закончить свою работу и постараюсь решить еще более трудную задачу, – довести жизнеописание великого старца до наших дней, и, окончив второй том, приступаю к составлению третьего.

Я прилагаю дополнительный список источников и литературы, которыми мне пришлось пользоваться специально для этого II тома, кроме уже поименованных в I-ом. Принимая то же деление библиографии на три отдела, я отношу к третьему отделу все литературно-критические статьи, как не имеющие непосредственного биографического значения.

Иностранцами источниками, как и при составлении первого тома, мне пришлось пользоваться очень мало. Только с начала 80-х годов имя Л. Н-ча Толстого начинает занимать видное место в европейской литературе. И потому список иностранной библиографии я намерен приложить к третьему тому.

Да будет образ 80-летнего старца, зовущего нас к обновлению жизни, тем источником света и тепла, который согре-

ет и осветит холодные и темные углы нашего тяжелого времени, хотелось бы сказать уже пережитого.

П. Бирюков

Кострома.

11-го января 1908 г.

Библиографический указатель

Кроме книг и статей, поименованных в библиографическом указателе, приложенном к первому тому, были использованы для второго тома еще следующие материалы.

I разряд

- 1) Архив Л. Н-ча Толстого: дневники, письма, записные книжки, воспоминания.
- 2) Архив гр. С. А. Толстой; переписка с Л. Н. Толстым и воспоминания.
- 3) Архив Т. А. Кузминской: письма к ней гр. С. А. Толстой и воспоминания.
- 4) Архив В. Гр. Черткова: письма Л. Н-ча к Н. Н. Страхову и другие материалы.
- 5) Полное собр. соч. Л. Н. Толстого. Изд. 10. Москва 1907 г.
- 6) Полное собрание соч. Л. Н. Толстого, запрещенных русской цензурой Изд. «Свободного слова».
- 7) Сочинение Л. Н. Толстого, изд. Эльпидина. Женева. «Соединение и перевод 4-х Евангелий».
- 8) Азбука Л. Н-ча Толстого. Изд. 1872 г. С.-Петербург.
- 9) «Новая азбука» Л. Н. Толстого. Изд. 1-е. 1875 г.

Москва.

10) Речь Л. Н. Толстого на военно-полевом суде. Журнал «Право», 1903, с 2016.

11) Письмо Л. Н. Толстого о самарском голоде. «Московские ведомости» 17 авг. 1873 г.

12) Письмо Л. Н. Толстого о народн. журнале. «Тобольские ведомости».

13) Письмо Л. Н. Толстого к Фету (не вошедшее в воспоминания) «Русское обозр.», 1896.

14) Письмо Л. Н. Толстого к Шатилову об опыте преподавания по двум методам. «Отеч. зап.», 1874.

15) Личные воспоминания.

II разряд

16) Арбузов С. П. «Гр. Л. Н. Толстой». Воспом. бывшего слуги. М., 1904.

17) Е. М. «Воспоминания об И. С. Тургеневе в Ясной Поляне». «Тобольские губ. вед.», 1893, 28.

18) Захарьин (Якунин) И. «Гр. А. А. Толстая». «Вестн. Европы». Апрель, 1905.

19) Михайловский, Н. К. «Литературные воспоминания и современная смута».

20) «Моск. епарх. ведом.», 1874 г., 10. Стеногр. отч. о заседании Моск. комит. грам. 15 дек. 1874 г.

21) Овсянников. Н. В. «Эпизод из жизни Л. Н. Толстого».

«Русское обозрение», 1896.

22) Пругавин А. С. «Гр. Л. Н. Толстой в голодовку 1873-74 гг.». «Образование». Ноябрь 1902 г.

23) Сергеенко, П. А. «Тургенев и Толстой». Литературное приложение к «Ниве», 1906.

24) Стасов, В. В. «Ник. Ник. Ге. Его жизнь, произв. и переписка». Изд. «Посредник». М., 1904.

25) Страхов. Н. Н. Письма к Н. Я. Данилевскому. «Русский вестник», 1901, № 1.

26) Сухотина, Т. Л. «Гости Ясной Поляны».

27) Чайковский. М. И. «Жизнь П. И. Чайковского». Т. I и II. Изд. Юргенсона. М., 1896 г.

III разряд

28) Богословский Евгений. «Тургенев о Л. Н. Толстом». Тифлис, 1894 г.

29) Достоевский, Ф. М. «Дневник писателя», 1877 г.

30) Драгомиров, М. «Война и мир» с военной точки зрения». «Оруж. сборник». 1868, 69.

31) Кареев. «Философия истории в романе «Война и мир».

32) Мережковский. «Достоевский и Толстой».

33) Михайловский Н. К. «Записки профана».

34) Овсяннико-Куликовский. «Л. Н. Толстой как художник».

35) Об опыте преподавания в моск. школах по способу Л. Н. Толстого по звуковому. «Отеч. записки», 1874, 9.

36) «Русский инвалид» 1902 г. (Военные типы «Войны и мира»).

37) «Русские ведомости», 1874 г., 31. Отчет о заседании Моск. ком. грамот.

38) Соловьев, В. «Гр. Л. Н. Толстой». Очерк. «Нива», 1879.

39) Станкевич (об «Анне Карениной»), «В. Евр.», 1878 г., 4–5.

40) Страхов, Н. Н. «Критич. статьи о Тургеневе и Толстом». Изд. 3-е. Спб., 1895 г.

41) Чуйко, В. 8-я часть «Анны Карениной». «Отеч. зап.», 1877, кн. 8.

42) Мелкие газетные заметки и статьи.

Часть I. Период «Войны и мира»

Глава 1. До «Войны и мира»

Мы оставили Льва Николаевича и Софью Андреевну в Ясной Поляне, куда они удалились после свадьбы, веселых, бодрых, жизнерадостных. Судя по письму Льва Николаевича к Фету, уже приведенному нами, он чувствовал действительное возрождение и полной грудью вдыхал новую, охватившую его атмосферу семейной жизни.

Эта перемена условий жизни самого Льва Николаевича ведет за собой некоторые перемены в окружающей его среде. Так, 15 октября он прекращает школьные занятия. Издание журнала «Ясная Поляна» тяготит его, журнал опаздывает, и наконец он решается его прекратить.

18-го октября 1862 года он пишет брату Сергею:

«На журнал чуть-чуть тянется подписка, но по общему счету, который я сделал на днях, журнал принесет мне 3.000 убытку. К несчастью, получил я на днях две статьи недурные, которые можно напечатать, так что с небольшим трудом я дотяну до 63 года, но подписки на будущий год не делаю и продолжать не буду журнала, а ежели будут набираться материалы, то буду издавать сборником, просто книжками, без всякого обязательства...»

19 декабря он кончает 1-ую часть «Кзаков» и сдает ее по уговору Каткову, который и помещает эту чудную повесть в январской книжке «Русского вестника» за 1863 год.

5-го января Лев Николаевич записывает в своем дневнике: «Счастье семейное поглощает меня».

Одного этого выражения достаточно, чтобы охарактеризовать все тогдашнее состояние Льва Николаевича.

Софья Андреевна также была вполне счастлива и так выражала это в письме своему другу молодости, А. М. Кузминскому, будущему мужу ее сестры. Ей казалось почему-то удобнее высказать это по-французски, хотя все письмо написано по-русски:

«...Mariez vous, rendez votre epouse heureuse, et demandez lui ce qu'elle pense et ce que'elle sent, alors vous comprendrez ma vie et mon bonheur...»

Но это «поглощение счастьем» не могло продолжаться долго именно в силу той интенсивности, с которой Л. Н. отдавался всякому чувству. Вскоре счастье омрачается несколькими, правда, мимолетными, несогласиями, и гармония снова восстанавливается.

15-го января Л. Н-ч записывает в своем дневнике:

«...Мы дружны. Последний раздор оставил маленькие следы (незаметные) или, может быть, время. Каждый такой раздор, как ни ничтожен, – есть надрыв любви.

Минутное чувство увлечения, досады, самолюбия, гордости – пройдет, а хоть маленький надрез останется навсегда и

в лучшем, что есть на свете – в любви.

8 февраля. Мне так хорошо, так хорошо, так ее люблю!»

Мы видим из этих беглых заметок, как бережно, как сознательно относился Л. Н-ч к своему новому чувству, как будто он боялся потерять его, стать недостойным этого священного огня, загоревшегося в нем и осветившего своим светом всю его внутреннюю жизнь и окружающую обстановку.

И все-таки во всем этом увлечении постоянно слышится нотка анализа, сомнения, не дающая ему испытать полного счастья – самозабвения, которого ему так хотелось, и в обладании которым он так старался уверить себя.

И это сомнение, это неудовлетворение, помимо его воли, быть может, выразилось в его художественных творениях.

Вскоре после женитьбы Л. Н-ч начал писать «Войну и мир». В 6-ой главе 1-ой части, написанной в конце 63 г. или в начале 64 года, т. е. через год с небольшим после свадьбы, князь Андрей так говорит Пьеру:

– Никогда, никогда не женись, мой друг! Вот тебе мой совет: не женись до тех пор, пока ты не скажешь себе, что ты сделал все, что мог, и до тех пор, пока ты не перестанешь любить ту женщину, какую ты выбрал, пока ты не увидишь ее ясно, а то ты ошибешься жестоко и непоправимо. Женись стариком, никуда не годным... А то пропадет все, что в тебе есть хорошего и высокого. Все истратится по мелочам. Да, да, да! Не смотри на меня с таким удивлением. Ежели ты

ждешь от себя чего-нибудь впереди, то на каждом шагу ты будешь чувствовать, что для тебя все кончено, все закрыто, кроме гостиной, где ты будешь стоять на одной доске с придворным лакеем и идиотом... Да что...

Он энергически махнул рукой.

Пьер снял очки, от чего лицо его изменилось, еще более выказывая доброту, и удивленно глядел на друга.

– Моя жена, – прибавил князь Андрей, – прекрасная женщина. Это одна из тех редких женщин, с которой можно быть покойным за свою честь. Но, боже мой... чего бы я не дал теперь, чтобы не быть женатым! Это я тебе одному и первому говорю, потому что я люблю тебя.

Чувство органической зависимости от жены, от семьи Л. Н-ч прекрасно выражает в «Анне Карениной», описывая первое время женитьбы Левина и Китти.

Когда Китти сделала ему сцену ревности, потому что он опоздал на полчаса домой, Левин, говорит Л. Н-ч, «тут только в первый раз ясно понял, чего он не понимал, когда после венца повел ее из церкви. Он понял, что она не только близка ему, но что он теперь не знает, где кончается она и начинается он. Он понял это по тому мучительному чувству раздвоения, которое он испытывал в эту минуту. Он оскорбился в первую минуту, но в ту же секунду он почувствовал, что он не может быть оскорблен ею, что она была он сам. Он испытывал в первую минуту чувство, подобное тому, какое испытывает человек, когда, получив вдруг сильный удар сза-

ди, с досадой и желанием мести оборачивается, чтобы найти виновного, и убеждается, что это он сам нечаянно ударил себя, что сердиться не на кого и надо перенести и утишить боль».

В другой раз Левин, раздосадованный тем, что Китти увязалась за ним в его поездке к умирающему брату, в ужасе восклицает:

– Нет, это ужасно. Быть рабом каким-то!

...Но в ту же минуту он почувствовал, что он бьет сам себя.

Таким образом, минуты счастья перемежались с минутами сознания и сожаления об утраченной свободе.

В то же время Л. Н-ча не оставляют и литературные планы и мечты. Он в своем дневнике записывает сюжет нового романа. Вот два намеченные типа: «профессор-западник, взявший себе усидчивой работой в молодости диплом за умственную праздность и глупость – в противоположность человеку, до зрелости удержавшему в себе смелость мысли и нераздельность мысли, чувства и дела».

Эти типы отчасти были изображены в «Анне Карениной». Попадают в дневнике того времени и мысли общего критического, философского характера:

«...Открытие новых законов в науке есть только открытие нового способа воззрения, при котором то, что прежде было неправильным, кажется правильным и последователь-

ным, вследствие которого (нового воззрения) другие стороны становятся темнее».

В половине декабря Л. Н-ч с молодой женой едет ненадолго в Москву.

Пребывание Л. Н-ча с женой в Москве, конечно, обратило на себя внимание их друга Фета, и он делает заметку об этом в своих воспоминаниях:

«В скором времени я с восторгом узнал, – пишет Фет, – что Лев Николаевич с женой в Москве и остановились в гостинице Шеврие, бывшей Шевалье. От нас не ускользнула эта перемена, столь идущая в данном случае к прелестной идиллии молодых Толстых. Несколько раз мне при проездах верхом по Газетному переулку удавалось посылать в окно поклоны дорогой мне чете».

Но это продолжалось недолго. Вскоре молодые супруги снова в Ясной Поляне, где Л. Н-ч отдается опять семейно-хозяйственной жизни.

«Вероятно, молодым Толстым, – продолжает Фет, – невзирая на очарование первого московского сезона недавних супругов, недолго ложилось у Шеврие, и мы на пути из Москвы направились в давно знакомую нам Ясную Поляну, где нам предстояло увидеть новую ее хозяйку.

Часов в 8 вечера, в морозную месячную ночь, почтовая тройка, свернув с шоссе, повезла нас по проселку, ведущему к вороту между двумя башнями, от которых старая березовая аллея ведет к яснополянскому дому. Когда мы ста-

ли подыматься рысцой на изволок к этому воротищу, то заметили бойко выезжающую из ворот навстречу нам тройку. «Вот, – подумал я, – как кстати. Тульские не знакомые нам гости со двора, а мы как раз подъедем». Но вот бойкая тройка, наехав на нас, вынуждена, подобно нам, шагом сворачивать в субой с дороги, на которой двум тройкам нет места рядом.

– Возьми поправее-то! – кричит своему кучеру седок, лица которого я не могу рассмотреть в тени от высокой спинки саней.

– Это вы, граф? – крикнул я, узнав голос Льва Николаевича – Куда вы?

– Боже мой, Афанасий Афанасьевич... мы с женой выехали прокатиться. А Марья Петровна здесь?

– Здесь.

– Ах, как я рада! – воскликнул молодой и серебристый голос.

– Выбирайтесь на дорогу! – воскликнул граф, – а мы сейчас же завернем за вами следом.

Не буду описывать отрадной встречи нашей в Ясной Поляне, – встречи, которой много раз суждено было повториться с той же отрадой. Но на этот раз я невольно вспомнил дорогого Николая Николаевича Толстого, прослушавшего в Новоселках всю ночь прелестную птичку. Такая птичка оживляла яснополянский дом своим присутствием».

Выход в свет «Казаков» и затем «Поликушки» снова об-

ращает внимание литературных друзей Л. Н-ча, но он, увлеченный иным, практическим делом, смотрит как-то издали на свою прежнюю литературную деятельность и так выражает это в своем письме к Фету весной 1863 года:

«...Ваши оба письма одинаково были мне важны, значительны и приятны, дорогой Афанасий Афанасьевич... Я живу в мире, столь далеком от литературы и критики, что, получая такое письмо, как ваше, первое чувство мое – удивление. Да кто же такой написал «Казачи» и «Поликушку»? Да и что рассуждать о них? Бумага все терпит, а редактор за все платит и печатает. Но это только первое впечатление, а потом вникнешь в смысл речей, покопаешься в голове и найдешь там где-нибудь в углу, между старым забытым хламом, найдешь что-то такое неопределенное, под названием художественное. И, сличая с тем, что вы говорите, согласишься, что вы правы, и даже удовольствие найдешь покопаться в этом старом хламе и в этом когда-то любимом запахе. И даже писать захочется. Вы правы, разумеется. Да ведь таких читателей, как вы, мало. «Поликушка» – болтовня на первую попавшуюся тему человеку, который «и владеет пером», а «Казачи» – «с сукровицей», хотя и плохо. Теперь я пишу историю пегого мерина, к осени, я думаю, напечатаю. Впрочем, теперь как писать? Теперь незримые усилия даже зримые, и притом я в юхванстве по уши. И Соня со мной, управляющего у нас нет. Есть помощник по полевому хозяйству и постройкам, а она одна ведет контору и кассу. У меня и пчелы, и ов-

цы, и новый сад, и винокурня. И все идет понемножку, хотя, разумеется, плохо сравнительно с идеалом. Что вы думаете о польских делах? Ведь дело-то плохо, не придется ли нам с вами и с Борисовым снимать опять меч с заржавленного гвоздя?»

А вот мнение Тургенева о тех же литературных произведениях, выраженное в его письмах к Фету того же времени:

«Казаков» я читаю и пришел от них в восторг (и Боткин также). Одно лицо Оленина портит общее великолепное впечатление. Для контраста цивилизации с первобытной, нетронутой природой не было никакой нужды снова выводить это возящееся с самим собою скучное и болезненное существо. Как это Толстой не сбросит с себя этот кошмар».

И далее в другом письме:

«Прочел я «Поликушку» Толстого и удивлялся силе этого крупного таланта. Только материалу уж больно много потрачено, да и сынишку он напрасно утопил. Уж очень страшно выходит. Но есть страницы, поистине, удивительные. Даже до холода в спинной кости пробирает, а ведь она у нас и толстая, и грубая. Мастер, мастер».

Как резко выражается в этих отзывах об одних и тех же литературных произведениях – самого Л. Н-ча и его друга Тургенева – разность их характеров и взглядов на литературное искусство!

«Поликушку» Л. Н. считает «болтовней», а Тургенев не

находит слов для похвалы и только упрекает в излишней силе впечатления. «Казачков» Толстой считает «с сукровицей», т. е. с идеей, составляющей силу этого рассказа, Тургенев хотя и приходит в восторг от «Казачков», но самую эту сукровицу, т. е. идею, выражаемую типом Оленина, считает скучным, болезненным кошмаром.

Но возвратимся к яснополянской идиллии.

В письме к Фету Л. Н-ч употребляет такую фразу: «Что вы думаете о польских делах? Ведь дело-то плохо, не придется ли нам с вами и с Борисовым снимать меч с заржавленного гвоздя?»

Очевидно, дело идет о польском восстании 1863 года. Из дневника Софьи Андреевны того времени мы видим, что Л. Н. действительно собирался на войну; на ней, очевидно, болезненно отзывались эти сборы.

Вот что она пишет:

«22-го сентября... почти правда. На войну. Что за странность. Взбалмошный, нет, неверно, а просто непостоянный... Все у них шутка. Минутная фантазия. Нынче женился, понравилось, родил детей, завтра захотел на войну, бросил. Надо теперь желать смерти ребенка, потому что я его не переживу. Не верю я в эту любовь к отечеству, в этот энтузиазм в 35 лет. Разве дети не то же отечество, не те же русские. Их бросить, потому что весело скакать на лошади, любоваться, как красива война и слушать, как летают пули.

...Войны еще нет, он еще тут».

Это ограничилось, к общему благополучию, одними мечтами. Порой Лев Николаевич, как бы отрываясь от своей кипучей деятельности, закрывая на все глаза, снова уходит в самого себя и хотя издали, но уже замечает своего страшного, тогда еще редко посещавшего его призрака – дракона смерти.

1-го марта в дневнике его кратко, но ясно выражено это состояние: «мысль о смерти».

В своем неутомимом стремлении анализа и раскапывания жизни до ее основания Толстой не дает себе покоя даже при полном благополучии. При (отсутствии препятствия он вообразает его и нападает на него, как Дон-Кихот на ветряные мельницы. Так, на него находят припадки ревности. Он записывает в дневнике, что он чувствует «ревность к человеку, который бы вполне стоил ее». Но зато дальше он пишет:

«...А малейший проблеск понимания и чувства, и я опять счастлив и верю, что она понимает вещи, как и я».

При его страстности, способности увлекаться, и вместе с тем подозрительности, неизбежны были огорчения и семейные бури, но зато неизбежны и порывы счастья, любви, с такою же силою чувствуемых, как и предшествующие страдания.

Запись дневника 6-го октября 1863 года кратко, но ясно отражает нам эти периоды борьбы с самим собою.

«...Все это прошло и все неправда. Я ею счастлив, но я собою недоволен страшно. Я качусь, качусь под гору смерти и

едва чувствую в себе силы остановиться. А я не хочу смерти, я хочу и люблю бессмертие. Выбирать незачем. Выбор давно сделан – литература, искусство, педагогика, семья. Непоследовательность, робость, лень, слабость – вот мои враги».

Юный возраст супруги Льва Николаевича возбуждал иногда шутки его друзей, от которых приходилось отбиваться Льву Николаевичу. Так, от 15 мая 1863 года он пишет Фету:

«Чуть-чуть мы с вами не увидались, и так мне грустно, что «чуть-чуть», столько хотелось бы с вами переговорить. Нет дня, чтобы мы о вас несколько раз не вспоминали. Жена моя совсем не играет в куклы. Вы не обижайте. Она мне серьезный помощник. Да еще с тяжестью, от которой надеется освободиться в начале июля. Что же будет после? Мы юхванствуем понемножку. Я сделал важное открытие, которое спешу вам сообщить. Приказчики, управляющие и старосты есть только помеха в хозяйстве. Попробуйте прогнать все начальство и спать до десяти часов, и все пойдет, наверно, не хуже. Я сделал этот опыт и остался им доволен вполне. Как бы, как бы нам с вами свидеться? Ежели вы поедете в Москву и не заедете к нам с Марьей Петровной, то это будет даже обидно. Эту фразу подсказала мне жена, читавшая письмо. Некогда. Хотел много писать. Обнимаю вас от всей души, жена очень кланяется, и я очень кланяюсь вашей жене.

Дело: когда будете в Орле, купите мне пудов 20 разных веревок, вожжей, тяжей и пришлите мне с извозчиками, ежели с провозом обойдется дешевле двух рублей тридцати копеек

за пуд. Деньги немедленно вышлю».

А вот еще одна лишняя картинка яснополянской жизни, принадлежащая перу того же друга – поэта Фета, восторженного поклонника молодой четы:

«Несмотря на самое серьезное и нетерпеливое расположение духа, я не мог отказать себе в удовольствии заехать в Ясную Поляну. Едва только я повернул между башнями по березовой аллее, как наехал на Льва Николаевича, распорядившегося вытягиванием невода во всю ширину пруда и, очевидно, принимающего всевозможные меры, чтобы караси не ускользнули, прячась в ил и пробегая мимо крыльев невода, невзирая на яростное щелканье веревками и даже оглоблями.

– Ах, как я рад! – воскликнул он, очевидно деля свое внимание между мною и карасями. – Мы вот, сию минуту. Иван, Иван! круче заходи левым крылом. Соня, ты видела Афанасия Афанасьевича?

Но замечание это явно опоздало, так как, вся в белом, графиня давно уже подбежала ко мне по аллее и тем же бегом, с огромной связкой тяжелых амбарных ключей на поясе, невзирая на крайне интересное положение, бросилась тоже к пруду, перескакивая через слуги невысокой загороди.

– Что вы делаете, графиня! – воскликнул я в ужасе – Как же вы неосторожны!

– Ничего, – ответила она, весело улыбаясь, – я привыкла.

– Соня, вели Нестерке принести мешок из амбара, и пойдете домой.

Графиня тотчас же отцепила от пояса огромный ключ и передала его мальчику, который бросился бегом исполнять поручение.

– Вот, – сказал граф, – вы видите полное применение нашей методы держать ключи при себе, а исполнять все хозяйственные операции при посредстве мальчишек.

Вечер этого дня можно бы по справедливости назвать исполненным надежд. Стоило посмотреть, с какою гордостью и светлую надеждою глаза добрейшей тетушки Татьяны Александровны озирали дорогих племянников и, обращаясь ко мне, ясно говорили: «вы видите? у mon cher Leon, конечно, не может быть иначе».

Что касается до молодой графини, то, конечно, у прыгающей в ее положении через слезы жизнь не может не быть озарена самыми радостными надеждами. Сам граф, прошедший всю жизнь в усиленных поисках новизны, в этот период, видимо, вступил в неведомый дотоле мир, в могучую будущность которого верил со всем увлечением молодого художника».

Краткую, но характерную заметку об этом времени мы находим в воспоминаниях свояченицы Л. Н-ча, тогда еще молодой девушки, младшей сестры графини, Т. А. Берс:

«Весной я поехала к ним в Ясную Поляну. Он увлекался тогда двумя вещами: тягой вальдшнепов и пчельником. На

тягу я почти каждый день ходила с ним, т. е. он шел, а я верхом. Мы становились в Засеке около пчельника; я помню, как он восхищался весной, пролетом птиц, закатом солнца, а слов его не помню. С ним всегда бежал желтый сеттер Дора. Не раз, возвращаясь домой, он заставлял у себя приехавшего или своего друга молодости Дм. Алекс. Дьякова, или Фета, или П. Ф. Самарина. За чаем или за ужином происходили беседы самые оживленные; но я содержания их не помню. Пчельником он много занимался. У него жил там седой дед. Л. Н-ч надевал сетку на голову и по целым часам изучал жизнь пчел».

В июне Л. Н-ч записывает в дневнике: «Читаю Гете, и рождаются мысли».

28-го июня последовало рождение первого сына, Сергея. А вместе с этим начался целый ряд новых семейных забот, горестей и радостей.

Об этом первом годе семейной жизни у нас, к сожалению, нет никаких сведений, за исключением нескольких беглых заметок дневника. В это время он, вероятно, уже занимался собиранием и разработкой материала для будущего большого романа.

Из литературных опытов этого года следует упомянуть о двух малоизвестных неизданных произведениях Льва Николаевича.

Он написал шуточную комедию под заглавием «Ниги-

лист». Содержание такое: муж и жена, у них учитель «нигилист». Муж ревнует жену, и выходят разные qui pro quo. Кончается благополучно. Они мирятся, и жена поет мужу куплет, последние строчки которого такие:

Я консерватор совершенно
И занята одними вами.

Эта комедия была поставлена на домашнем спектакле и прошла с блестящим успехом. Мужа играла графиня С. А., жену – ее сестра Т. А. На сцене является богомолка-страница, которую играла сестра Л. Н-ча, гр. Марья Николаевна, так вошедшая в свою роль, что на сцене импровизировала целые тирады.

Кроме того, Л. Н-ч тогда же написал комедию «Зараженное семейство» и в январе 1864 года повез ее в Москву, желая поставить на казенном театре. Но так как сезон уже подходил к концу, то ему это не удалось. Л. Н-ч читал эту комедию Островскому и выразил ему сожаление, что ему придется отложить постановку, тогда как сюжет комедии современный, на что Островский отвечал ему: «Разве ты думаешь, что люди скоро поумнеют?»

Комедия эта до сих пор лежит неизданной, в рукописи. Перескакивая целый год, мы находим Л. Н-ча уже погруженным в семейные тяготы и заботы. Так, он писал Фету 15-го июля 1864 года:

«Милый друг Афанасий Афанасьевич! Только два слова.

Жена диктует: весь дом болен. А я от себя прибавлю: и начинает выздоравливать. Ваше приглашение всех порадовало. Мы переглянулись с женой и Таней-свояченицей, улыбнулись все: а вот бы славно! поедem к Фетушке, ей-богу! И поехали бы, кабы не горловая болезнь Тани, от которой она была в опасности и теперь лежит, и не болезнь Сережи, и не восьмой месяц беременности Сони, при чем, обдумав здраво, не следует предпринимать такие поездки. Я же желаю и надеюсь быть».

Несмотря на сильное, страстное увлечение семьей и хозяйством, Л. Н-ч испытывал в то же время еще одну страсть, иногда затмевавшую первые две. Страсть эта была охота. Он сам признается в этом жене своей, вероятно, получив от нее упрек за долгую отлучку, и пишет ей, между прочим, в августе 1864 года, т. е. на второй год женитьбы:

«...Ты говоришь, я забуду. Ни минуты, особенно с людьми. На охоте я забываю, помню об одном дупеле, но с людьми при всяком столкновении, слове я вспоминаю о тебе, и все мне хочется сказать тебе то, что я никому, кроме тебя, не могу сказать».

В одну из таких поездок, тоже в августе того же года, Л. Н-чу пришлось быть свидетелем страшного и странного несчастья. Он пишет жене:

«...Страшный там случай, поразивший меня ужасно. Баба-скотница упустила бадью в колодец на конном дворе. Колодец всего 12 аршин. Села на палку и велела себя спустить мужику. Мужик, староста-пчеловод, единственный мне знакомый и милый в Никольском; баба слезла вниз и упала с палки. Мужик-староста велел себя спустить, долез до половины, упал с палки вниз. Побежали за народом, вытащили через полчаса, оба мертвые. В колодце было всего три четверти воды, вчера хоронили».

Этот случай послужил для Л. Н-ча темой рассказа «Вредный воздух», помещенного в 4-й книге для чтения.

Но вот его увлекает новая страсть творчества, и он начинает писать «Войну и мир». К истории этого великого произведения мы и приступаем в следующей главе.

Глава 2. История «Войны и мира»

Само собой разумеется, что мы будем говорить о «Войне и мире» не в смысле критическом, литературном, а как о важном жизненном факте, дающем нам ценный биографический материал. И потому, если мы и будем касаться критики, то опять-таки только как характерных черт описываемой эпохи, как данных для изображения среды, окружавшей Л. Н-ча, его отношения к ней и их взаимного влияния. Наконец, мы считаем своим долгом высказать и наше собственное отношение к «Войне и миру» как факту художественному, историческому, моральному и философскому, считая более подробную критическую оценку этого произведения неуместной для биографии и требующей специального обширного труда, который отлагаем до более благоприятного времени.

Как ни странно это сказать, это великое произведение явилось на свет как бы случайно, или, выражаясь юридически, «без заранее обдуманного намерения».

Многим читателям, вероятно, известно, что раньше «Войны и мира» Л. Н-ч задумывал написать роман «Декабристы». Отрывки этого романа, напечатанные в 3-м томе полного собрания сочинений, снабжены следующим примечанием:

«Печатаемые здесь три главы романа под заглавием «Декабристы» были написаны еще прежде, чем автор принял»

ся за «Войну и мир». В то время он задумывал роман, которого главными действующими лицами должны быть декабристы, но не написал его, потому что, стараясь создать его, он невольно переходил мыслью к предыдущему времени, к прошлому своих героев. Постепенно перед автором раскрывались все глубже и глубже источники тех явлений, которые он задумывал описывать: семья, воспитание, общественные условия и проч. избранных им лиц; наконец, он остановился на времени войн с Наполеоном, которое и изобразил в «Войне и мире». В конце этого романа видны уже признаки того возбуждения, которое отразилось в событиях 14-го декабря 1825 года».

Время наполеоновских войн недаром привлекло внимание Л. Н-ча. Исторический и психологический анализ этих событий привел его к созданию особого философского взгляда на историю, и весь роман является как бы дивной иллюстрацией к этому взгляду. Для детальной разработки этой картины послужили, с одной стороны, семейные и исторические предания; с другой стороны, особое отношение автора к жизни и духу русского народа, явившегося главным действующим лицом в этой эпопее.

Вот те данные, которые, по нашему мнению, легли в основу «Войны и мира». Первое упоминание о работе над «Войной и миром» мы встречаем в дневнике Софьи Андреевны: «28 октября 1863 г... Где он? *История 12-го года*, бывало, все рассказывал – теперь недостойна».

В конце 64-го года в письмах Л. Н-ча появляются уже сообщения о том, что работа идет. Так, 17-го ноября 1864 года он пишет Фету:

«Я тоскую и ничего не пишу, а работаю мучительно. Вы не можете себе представить, как мне трудна эта предварительная работа глубокой пахоты того поля, на котором я принужден сеять. Обдумать и передумать все, что может случиться со всеми будущими людьми предстоящего сочинения, очень большого, и обдумать миллионы возможных сочетаний для того, чтобы выбрать из них $1/1000000$ – ужасно трудно, и этим я занят».

Вскоре затем он писал еще:

«Я довольно много написал нынешнюю осень своего романа. *Ars longa, vita brevis*, – думаю я всякий день. Коли можно бы было успеть $1/100$ долю исполнить того, что понимаешь, но выходит только $1/1000000$ часть. Все-таки это сознание, что могу, составляет счастье нашего брата. Вы знаете это чувство. Я нынешний год с особенной силой его испытываю».

Писание «Войны и мира» было прервано самым неожиданным трагическим образом. В сентябре 1864 года со Львом Николаевичем на охоте произошел случай, едва не стоивший ему жизни. Вот как сообщает об этом несчастье гр. С. А. своей сестре:

1-го октября 1864 года.

«... Лева поехал в ненавистные тебе Телятники с борзыми и на Машке, которая давно уже стояла. Вдруг выскочил русак. Лева кричит: «ату его!» – и пускается во весь дух его травить. Машка, непривычная к охоте, ужасно быстрая в скаку, натывается на очень узкую, но глубокую рытвину, перепрыгнуть не в состоянии, спотыкается и падает. Лева падает с нее, ушибается, и рука его вывихнулась. Конечно, лошадь убежала, а Лева почти без памяти, с ужасной болью в руке, остается на месте. Кое-как собрался он с силами, встал и поплелся; до шоссе было с версту; как он дошел, одному богу известно; говорит, что ему все казалось очень давно. Что «когда-то» он ехал, «когда-то давно» травил зайца, и точно как будто давно-давно он упал. В таком состоянии дошел до шоссе, там и лег. Ехали мужики, он кричал, они не обратили внимания, наконец, пешеход остановил телегу, мужики его подняли, положили и привезли не домой, а он велел на деревню, в избу, чтобы не испугать меня. А я, между тем, сижу с Сережей и мамашей и ворчу, что никто не едет к обеду. Вдруг Машенька является, закутанная и со странным лицом. Они переглядываются и начинают меня готовить, и как надо быть рассудительной, не пугаться... Я кричу: «что с Левой, говорите скорей!» Мне говорят, что он в избе; я бегу туда и вижу его раздетым, в страшных страданиях, стонет, и руку держит мужик, баба-старуха растирает. Агафья Михайловна делает чай, и тетенька там, и дети кричат. Послали за Шмигеро, он 8 раз принимался ломать руку, т. е. пра-

вить, ничего не сделал, а только измучил Леву. Мама одна все время присутствовала. Он провел страшную ночь, я его не покидала ни минуты, и на другой день приехал ловкий молодой доктор Преображенский, который с хлороформом отлично вправил ему руку».

Дополняем описание этого случая по воспоминаниям его слуги Сергея Петровича Арбузова:

«Графа тем временем перевезли с деревни в свой дом. В доме никто не спал. Доктор разделся, прошел наверх в кабинет, куда я подал и лекарства. Софья Андреевна сейчас же послала меня за двумя работниками, чтобы держать графа, когда доктор будет править руку. Я позвал работников Семена и Владимира, которых граф очень любил; по приказанию графини они были введены в кабинет и по указанию доктора стали сзади графа. Доктор дал что-то понюхать, и Лев Николаевич заснул, а доктор начал править руку.

Но граф скоро очнулся и сказал:

– Не стыдно ли вам так со мной поступать?

Тогда доктор дал графу понюхать еще больше, и граф так лишился сознания, что доктор даже испугался. Работники тянули руку по указаниям доктора, а сам он только правил плечо. Граф все не приходил в себя, так что доктор поспешил положить ему на голову холодный компресс, после чего Лев Николаевич очнулся.

– Как вы себя чувствуете? – спросил доктор.

– Чувствую очень хорошо.

Все время старая няня, Агафья Михайловна, которую очень любят и граф, и графиня, не отходила от них и утешала их:

– Вы, матушка Софья Андреевна, не очень огорчайтесь; с живым человеком все может случиться. Бог даст, все пройдет.

В это время приехал другой доктор, Кнерцер, за которым посылали. Оба доктора о чем-то между собой поговорили и решили, что рука вправлена хорошо, но только графу шесть недель придется пролежать в постели. Доктора после обеда уехали в Тулу.

Добрая няня Агафья Михайловна все шесть недель не отходила от графа и тут же спала, сидя в кресле. После шести недель граф попробовал выстрелить, чтобы удостовериться, укрепилась ли рука или нет, но тотчас же после выстрела почувствовал ужасную боль. Граф тотчас же послал письмо в Москву своему тестю, придворному доктору, Андрею Астафьевичу Берс; тот немедленно ответил, чтобы граф приезжал в Москву больше чем на месяц, так как ему надо делать ванны, растирать руку и снова ее поправлять».

Приехав в Москву, Л. Н-ч остановился у родных своей жены и стал советоваться с московскими знаменитостями о том, что делать ему с худо вправленной рукой, которой он не мог как следует владеть и при движении которой чувствовал сильную боль.

Советы докторов были разнообразны, и это разноречие

усиливало нерешительность Л. Н-ча делать трудную операцию.

Одни советовали переправить, руку; другие советовали лечить массажем. Одни обнадеживали, что операция легкая, и обещали полное выздоровление; другие, наоборот, предупреждали, что операция трудна, что рука может остаться одна короче другой и что на полное владение нет никакой надежды. В этой нерешительности Л. Н-ч провел целую неделю. Это была первая продолжительная отлучка Л. Н-ча от своей молодой семьи, конечно, вызвавшая немало огорчений и в то же время послужившая поводом обмена самыми дружескими письмами. Вот некоторые из них, наиболее характерные и рисующие отношения молодых супругов:

25-го ноября 1864 г.

«Расстались-таки мы с тобой, – пишет Софья Андреевна, – пришлось и горя испытать, не все же радоваться. А это настоящее горе, серьезное, которое тоже надо уметь перенести. Как-то вы все там поживаете? Хорошо ли тебе? Ты обо мне не думай, ты все делай, что тебе весело. В клуб езди и к знакомым, к кому хочешь, я теперь насчет всего так покойна, так счастлива тобой и так в тебе уверена, что ничего в мире не боюсь. Это я тебе говорю искренно, и самой приятно в себе это чувствовать. У нас все по-старому, без малейших перемен. Я все сижу внизу, тут мое царство, мои дети, мои занятия и жизнь. Когда приду наверх, мне кажется, что

я пришла в гости. Сережа, когда я приду, встает, без меня шутит и врет, а при мне все церемонии и натянутость, хотя он и любезен, и хорош со мной. Чувствуется мне, что я им всем чужая: странно, чужая твоим родным, что все они любят и дорожи друг другом, а на меня смотрят снисходительно и ласково, как на воспитанницу в доме. Все очень добры, участие большое принимают во мне, но все это как-то не то. Без тебя я тут не при чем, – такие уж у меня дикие мысли; при тебе я чувствую себя царицей, без тебя – лишней. Все, кто меня любят, теперь в Кремле, и я постоянно с вами живу, вся моя жизнь – исключая детей – вся там. Тетенька самая родственная и самая добрая. Она никогда не меняется, все та же».

Конечно, и Л. Н-ч отвечал ей тем же. Вот какое впечатление произвело на него предыдущее письмо; описывая свое времяпрепровождение в Москве, он, между прочим, пишет:

«За обедом позвонили – газеты, Таня все бегала; позвонили другой раз – твое письмо. Просили все у меня читать, но мне жалко было давать его. Оно слишком хорошо, и они не поймут и не поняли. На меня же оно подействовало, как хорошая музыка: и весело, и грустно, и приятно – плакать хочется».

Но вот из Ясной стали приходиться более тревожные известия. Гр. С. А. в это время кормила второго ребенка – Таню, а старший, Сережа, заболел оспой и сильным поносом, который он едва перенес. Сообщая Л. Н-чу эти печальные вести,

Софья Андреевна, тем не менее, прибавляет:

«...А ты, душенька, напротив, живи в Москве, не приезжай, куда у нас все опять не будет совершенно хорошо и исправно. Теперь все равно ты для меня не существовал бы. Я все в детской со своими беспокойными детьми. И на ночь, и на день мне их оставить никак нельзя.»

Можно думать, что беспокойство о доме заставило Л. Н-ча решиться на операцию, чтобы жертвы, принесенные им, не пропадали даром.

23-го ноября доктора Попов и Гаак сделали ему операцию под хлороформом, они сломали прежнее сращение, вправили снова и наложили повязку. Л. Н-ч долго не поддавался хлороформу. Вскakiвал, бредил. Операция кончилась благополучно, и выздоровление пошло обычным путем.

На другой день Л. Н-ч, не владея правой забинтованной рукой, диктовал письмо своей жене, которое писала под его диктовку его свояченица, меньшая сестра графини, Татьяна Андреевна Берс. В этом письме, описывая в комическом виде приготовление дома к операции, он говорит в заключение, что не чувствовал никакого страха перед операцией и чувствовал боль после операции, которая скоро прошла от холодных компрессов.

С. А. писала ему почти каждый день: сообщая о здоровье детей, она старалась успокоить его, чтобы облегчить ему дни разлуки. Так, 2-го декабря она, между прочим, пишет:

«Чем же ты теперь занимаешься, милый Левочка? Верно,

нашел писаря и диктуешь ему, если только рука не очень болит, и если ты сам весь здоров. А у меня-то нет работы, сижу и себя обшиваю теперь, чтобы к твоему приезду быть опять свободной и переписывать для тебя».

3-го декабря.

«...Все про именины вы хорошо описали, и в день операции суматохи было немало. Я, читая, совсем перенеслась в ваш мир. А мне теперь мой яснополянский милее. Видно, гнездо, которое сама совьешь, лучше того, из которого вылетишь».

Порой ее охватывает грусть, и в письме слышится меланхолическая нотка. Так, в письме от 7-го декабря она пишет:

«...Музыка, которую я так давно не слыхала, разом вывела меня из моей сферы – детской, пеленок, детей, – из которой я давно не выходила ни на один шаг, и перенесла куда-то далеко, где все другое. Мне даже страшно стало, я в себе давно заглушила все эти струнки, которые болели и чувствовались при звуках музыки, при виде природы и при всем, чего ты не видел во мне, за что тогда тебе бывало досадно. А в эту минуту я все чувствую, и мне больно и хорошо. Лучше не надо всего этого нам, матерям и хозяйкам.

...Оглядываю твой кабинет и все припоминаю, как ты у ружейного шкапа одевался на охоту, как Дора прыгала и радовалась около тебя, как сидел у стола и писал, и я приду, со страхом отворю дверь, взгляну, не мешаю ли я тебе, и ты

видишь, что я робею, и скажешь: войди. А мне только этого и хотелось. Вспоминаю, как ты больной лежал на диване; вспоминаю тяжелые ночи, проведенные тобой после вывиха, и Аг. Мих. на полу, дремлющую в полусвете, и так мне грустно, что и сказать тебе не могу».

Как только Л. Н-ч немного оправился от операции, он снова взялся за свой роман. Но, не будучи в состоянии владеть рукой, он диктовал его Татьяне Андреевне. Вскоре он заключил условие с Катковым о напечатании его романа в «Русском вестнике»; Катков платил ему по 300 руб. за печатный лист. В декабре Л. Н-ч вернулся домой.

В январе 1865 года Л. Н-ч пишет Фету в шутовском тоне о двух важных событиях своей жизни: о сломанной руке и о скором появлении начала своего романа.

«Как вам не совестно, милый мой друг Фет, так жить со мной, как будто вы меня не любите или как будто все мы проживем Мафусаиловы годы. Зачем вы никогда не заезжаете ко мне? И не заезжаете так, чтобы прожить два-три дня, спокойно прожить. Так хорошо поступать с другими. Ну, не увиделись в Ясной, встретимся где-нибудь на Подновинском; а со мной не встретитесь на Подновинском. Я тем счастлив, что прикован к Ясной Поляне; а вы человек свободный. А глядишь, умрет кто-нибудь из нас, вот как умер на днях сестрин муж Вал. Петрович, тогда и скажете: «что это я за дурак, все о мельнице хлопотал, а к Толстому не заехал. Мы бы с ним поговорили». Право, это не шутка.

...А знаете, какой я вам про себя скажу сюрприз: как меня стукнула об землю лошадь и сломала руку, когда я после дурмана очнулся и сказал себе, что я литератор. И я литератор, но уединенный, потихонечку литератор. На днях выйдет первая половина первой части 1805 года. Пожалуйста, подробнее напишите свое мнение. Ваше мнение, да еще мнение человека, которого я не люблю тем более, чем более я вырастаю большой, мне дорого, – Тургенева. Он поймет. Печатанное мною прежде я считала только пробой пера; печатанное теперь мне хотя и нравится более прежнего, но слабо кажется, без чего не может быть вступления. Но что дальше будет – беда... Напишите, что будут говорить в знакомых вам местах, и, главное, как на массу. Верно, пройдет незамечено. Я жду этого и желаю; только бы не ругали, а то ругательства расстраивают... Я рад, что вы любите мою жену: хотя я ее меньше люблю моего романа, а все-таки, вы знаете, жена. Приезжайте же ко мне».

Сдав начало своего романа в печать, Л. Н-ч продолжал усиленно работать над его продолжением, читая и разбирая исторические материалы, беседуя со многими людьми, у которых были или личные воспоминания того времени, или были живы в памяти рассказы современников. В дневнике того времени записано им интересное впечатление от чтения материалов, – впечатление, которое впоследствии легло в основание его романа:

19 марта 1865 года.

«Я зачитался историей Наполеона и Александра. Сейчас меня облаком радости сознания возможности сделать великую вещь охватила мысль написать психологическую историю: роман Александра и Наполеона. Всю подлость, всю фразу, все безумие, все противоречие людей их окружавших и их самих. Наполеон как человек – путается и готов отречься 18 брюмера перед собранием.

«De nos jours les peuples sont trop eclaires pour produire quelque chosde grand».

Александр Македонский называет себя сыном Юпитера, ему верили. Вся египетская экспедиция – французское тщеславное злодейство. Ложь всех bulletins – сознательная. Пресбургский мир – escamote. На Аркольском мосту упал в лужу, вместо знамя. Плохой ездок. В итальянской войне увозит картины, статуи. Любит ездить по полю битвы. Трупы и раненые – радость. Брак с Жозефиной – успех в свете. Три раза поправлял реляцию сражения Риволи – все лгал. Еще человек, первое время сильный своей односторонностью, потом нерешителен – чтоб было! как? Вы, простые люди, а я вижу в небесах мою звезду. Он не интересен, а толпы, окружающие его и на которые он действует. Сначала односторонность и beau jeu в сравнении с Мюратами и Баррасами, потом ощупью самонадеянность и счастье и потом сумасшествие – faire entrer dans son lit la fille des Cesars. Полное сумасшествие, расслабление и ничтожество на св. Еле-

не. Ложь и величие потому только, что велик объем, а мало стало поприще и стало ничтожество. И позорная смерть.

Александр, умный, милый, чувствительный, ищущий с высоты величия объема, ищущий высоты человеческой. Отрекающийся от престола и дающий одобрение (не мешающий) убийству Павла (не может быть). Планы возрождения Европы. Аустерлицкие слезы, раненый. Нарышкина изменяет. Сперанский, освобождение крестьян. Тильзит – одурманивание величием. Эрфурт. Промежуток до 12 года – не знаю. Величие человека, колебания. Победа, торжество, величие, grandeur, пугающие его самого, и отыскивания величия человека – души. Путаница во внешнем, а в душе ясность. А солдатская косточка – маневры, строгости. Путаница наружная, прояснение в душе. Смерть. Ежели убийство, то лучше всего».

Кроме исторических документов и бесед с людьми, помнящими описываемую эпоху, Л. Н-чу приходилось изучать и те места, где происходили великие события.

Так, он осмотрел местность Бородинского сражения и сам составил план его, который приложен к роману.

Шурин Л. Н-ча, С. А. Берс, ездивший с ним в эту поездку на Бородинское поле, так рассказывает в своих воспоминаниях об этом путешествии:

«В 1865 году осенью Лев Николаевич приехал в Москву с целью съездить и осмотреть Бородинское поле, на котором происходило знаменитое сражение в 1812 году. Он при-

ехал один и остановился у нас. Он просил отпустить меня с ним. Родители отпустили меня, и восторг мой был неописанный. Мне было тогда одиннадцать лет. Мой отец предоставил Льву Николаевичу свою охотничью коляску и погребец. Дорога, не считая десяти верст по шоссе от города, была по гати, и Лев Николаевич очень беспокоился за экипаж. Отъехавши несколько станций, мы намеревались закусить и тут увидели, что погребец и провизия были забыты, а сохранилась только маленькая корзинка с виноградом, которая была поручена мне. Лев Николаевич говорил: «мне жаль не то, что мы забыли погребец и провизию, а то, что твой отец будет волноваться и сердиться за это на своего человека».

На почтовых лошадях мы доехали в один день и остановились около поля сражения, в монастыре, основанном в память войны.

Два дня Лев Николаевич ходил и ездил по той местности, где за полстолетия до того пало более ста тысяч человек, а теперь красуется великолепный памятник с золотыми надписями. Он делал свои заметки и рисовал план сражения, напечатанный впоследствии в романе «Война и мир»... Хотя он и рассказывал мне кое-что и объяснял, где стоял во время сражения Наполеон, а где Кутузов, я не сознавал тогда всей важности его работы и с увлечением предавался игре с собачкой, хозяин которой был сторож памятника. Я помню, что на месте и в пути мы разыскивали стариков, еще живших в эпоху Отечественной войны и бывших свидетелями сра-

жения. По дороге в Бородино нам сообщили, что сторож памятника на Бородинском поле был участником Бородинской битвы и как заслуженный солдат получил это место. Оказалось, что старик скончался за несколько месяцев до нашего приезда. Лев Николаевич досадовал. Вообще наши поиски были неудачны. На обратном пути на последней станции нам попался веселый и старый ямщик с лошадьми громадного роста. Когда мы выехали на шоссе, он мчал нас в карьер, между тем был очень лунный вечер, а туман был так силен, что такая езда была довольно рискованна. Я был в возбужденном состоянии, вероятно, от этой езды, и Лев Николаевич, заметив это, спросил меня, чего бы я хотел в моей жизни. Я ответил: мне очень жаль, что я не сын его. Он этому несколько не удивился, вероятно, потому что привык к этому, так как все дети любили его, и сказал: «а мне хочется...» И дальше я смутно припоминаю, что желание его – быть понятым другими, потому что он осуждал всех историков за неверное и внешнее описание фактов и доказывал, что он описывает эти факты справедливо, потому что угадывает внутреннюю их сторону».

Сам Лев Николаевич был очень доволен поездкой; вероятно, в это время его творческая фантазия, освеженная созерцанием самого места великого события, работала усиленно и создавала один за другим чудные образы, проникнутые новыми глубокими идеями.

«Только бы бог дал здоровья и спокойствия, – пишет он

своей супруге, – а я напишу такое Бородинское сражение, какого еще не было».

Он целые дни проводил в библиотеке Румянцевского музея, роясь в ценных архивах того времени, изучая масонские книги, акты и рукописи.

Трудно себе представить всю ту гигантскую работу, которую пришлось выполнить Л. Н-чу при собирании, разработке и облечении в художественную форму всего этого материала.

Многие типы, кажущиеся нам чудным произведением художественной фантазии, являются портретами, списанными с натуры, после глубокого и серьезного изучения источников.

Приведем для примера характеристику двух военных типов, послуживших оригиналами для художественного воспроизведения в романе. Так, основанием рассказа о партизанском набеге Долохова послужили Л. Н-чу рассказы о подвигах известного Фигнера во время Отечественной войны. Приведем здесь некоторые из них, чтобы показать, из какого материала автор создал свой тип партизана.

«Известный впоследствии партизан, артиллерии капитан Фигнер с самого начала Отечественной войны отличался фанатической ненавистью к Наполеону, имевшею даже мистический оттенок, что было тогда в моде; он ежедневно ходил по церквам и со слезами молился богу об избавлении России от чудовища. По занятии неприятелем Москвы Фигнер,

с разрешения главнокомандующего, отправился в оставленную столицу и, переодеваясь в различные костюмы, днем выведывал, что ему было нужно, а ночью, собрав жителей, напал на французов и производил беспорядок и суматоху в местах их расположения. По открытии партизанских действий Фигнер получил небольшой отряд, с которым он и действовал в тылу французской армии, отличаясь необычайной смелостью нападения, доходившею до дерзости, и жестокостью, с которой он обращался с французами. О его подвигах было много рассказов после кампании 12-го года».

А вот что известно о прототипе бессмертного капитана Тушина, героя Шенграбенского сражения. Один военный историк дает о нем такие сведения:

«Каждый, кто читал описание этого сражения, сделанное великим романистом, наверное, с большим интересом остановился на симпатичном типе артиллериста, изображенном в лице штабс-капитана Тушина.

Простота, безыскусственность, доброта и величайшая скромность, доходящая до застенчивости, наряду с чрезвычайной мощью духа, – все эти качества штабс-капитана Тушина представляют собою отличительную черту не только прежнего типа артиллериста, но и вообще русского человека. Эта национальность типа Тушина вызывает особенную к нему симпатию. Но если Тушин представляет интерес для каждого читателя, то для военного, и особенно артиллериста, интерес этот достигает крайних пределов. И здесь сам

собою рождается вопрос: был ли в действительности такой артиллерист, который изображен гр. Толстым в лице Тушина, и какая батарея счастлива тем, что может считать в своих рядах такого богатыря?

В ответ на это, на основании неоспоримых архивных документов, можем сказать, что артиллерист такой действительно был. Это – штабс-капитан Яков Иванович Судаков, состоящий в списках 5-й батареи 10-й артиллерийской бригады, именованной в 1805 году «легкой ротой вакантной 4-го артиллерийского полка».

Сам Л. Н-ч говорит о своей исторической работе так:

«Везде, где в моем романе говорят и действуют исторические лица, я не выдумывал, а пользовался материалами, из которых у меня во время моей работы образовалась целая библиотека книг, заглавия которых я не нахожу надобности выписывать здесь, но на которые всегда могу сослаться».

Мы уже упоминали в 1-м томе биографии, что две главные семьи романа представляют много общего с предками Л. Н-ча как со стороны матери, так и со стороны отца.

Наташа, и та почти списана Л. Н. с натуры. Много черт в нее вошло из типа его свояченицы, меньшей сестры графини, теперь Татьяны Андреевны Кузминской; вошли также в нее и черты графини С. А. По ее словам, Л. Н-ч так выражался про Наташу: «Я взял Таню, перетолок ее с Соней, и вышла Наташа».

Эта самая Таня писала нам в одном из недавних писем:

«...Как я хорошо их обоих помню, когда он писал «Войну и мир»! У него было вечное поднятие духа, «high spirit», как называют англичане. Бодр, здоров, весел. В те дни, когда он не писал, он ездил на охоту со мной и часто с соседом Бибиковым, с борзыми...

...Помню, как всегда по его расположению духа видно было, насколько удачно шло «его писание, он был оживлен и весел и говорил, что он кусочек жизни своей оставил в чернильнице, когда шло удачно. Вечером раскладывал пасьянс у тети в комнате: он загадывал всегда почти что-нибудь о своем писании».

Верной сотрудницей его была графиня Софья Андреевна, переписывавшая ему его черновики. Работа Л. Н-ча требовала постоянных поправок и новой переписки. Так что работа, сделанная Софьей Андреевной, громадна, – подсчитать все эти поправки и переписки невозможно.

И на нее самое эта переписка действовала возвышающим душу образом. Вот что она пишет, между прочим, об этом своему мужу:

«...А нравственно меня с некоторого времени очень поднимает твой роман. Как только сяду переписывать, унесусь в какой-то поэтический мир, и даже мне покажется, что это не роман твой так хорош (конечно, инстинктивно покажется), а я так умна».

Набросав этот краткий очерк происхождения и писания «Войны и мира», мы перейдем теперь к краткому обзору

критической литературы, что и составит предмет следующей главы.

Глава 3. «Война и мир» (обзор критической литературы)

Наша биографическая точка зрения заставляет нас держаться особой системы при обозрении критических статей, посвященных этому великому произведению. Для нас «Война и мир» есть событие в жизни Л. Н-ча. Мы хотим оценить, описать это событие, и вот после сделанного нами в предыдущей главе исторического очерка этого произведения мы считаем своим долгом изобразить то впечатление, которое произвело это событие на читающую публику вообще и в частности на представителей и руководителей этой публики, литературных критиков.

Во-первых, взглянем на впечатление, произведенное «Войной и миром» на литературных друзей Л. Н-ча. Мы выделяем эти критические отзывы в особое место, так как мы берем их из частных писем самого Л. Н-ча и его друзей, а не из специальных критических статей, и потому эти отзывы носят особый интимный, непринужденный и несистематический характер.

Роман, как известно, стал появляться в книжках «Русского вестника» с января 1865 г. Первые две части, напечатанные в 1865 и 1866 гг. и потом вышедшие отдельной книжкой, первоначально были названы автором «Тысяча восемьсот пятый год». Критические статьи стали появляться после

выхода отдельной книжки, но отзывы друзей начались еще во время печатания его в журнале; так, В. П. Боткин писал Фету уже 14 февраля 1865 года:

«Начал читать роман Толстого. Как тонко подмечает он разные внутренние движения, – просто поразительно! Но, несмотря на то, что я прочел больше половины, нить романа нисколько не начинает уясняться, так что до сих пор подробности одни преобладают. Кроме того, к чему это излишнее обилие французского разговора? Довольно сказать, что разговор шел на французском языке. Это совершенно лишнее и действует неприятно. Вообще в русском языке большая небрежность. Это, очевидно, вступление, фон будущей картины. Как ни превосходна обработка малейших подробностей, а нельзя не сказать, что этот фон занимает слишком большое место».

Тургенева не сразу покорило это неожиданное, непривычное его организованному уму произведение. 25 марта 1866 года он пишет Фету:

«Вторая часть «1805 года» слаба: как это все мелко и хитро, и неужели не надоели Толстому эти вечные рассуждения о том, трус, мол, я или нет? Вся эта патология сражения? Где тут черты эпохи? Где краски исторические? Фигура Денисова бойко начерчена; она была бы хороша, как узор на фоне, а фона-то и нет».

Читатели замечают, что Боткин упрекает Толстого в обилии фона, а Тургенев – в отсутствии его.

Позднее, в письме к Фету от 8 июня 1866 года, Тургенев выражается еще более резко:

«Роман Толстого плох не потому, что он также заразился «рассудительством», этой беды ему бояться нечего: плох он потому, что автор ничего не изучил, ничего не знает и под именем Кутузова и Багратиона выводит нам каких-то рабски списанных с современных генеральчиков».

Сам Толстой прекрасно сознавал некоторые недостатки своего произведения и писал об этом своему другу Фету, мнение которого он ценил более других. В письме от 7 ноября 1866 года он говорит следующее:

«Милый друг Афанасий Афанасьевич, я не отвечал на ваше последнее письмо сто лет тому назад и виноват за это тем более, что, помню, в этом письме вы мне пишете *irritabilis roetarum gens*. Но уж не я. Я помню, что порадовался, напротив, вашему суждению об одном из моих героев – князе Андрее – и вывел для себя поучительное из вашего суждения. Он однообразен, скучен и только *un homme comme il faut* во всей первой части. Это правда, но виноват в этом не он, а я. Кроме замысла характеров и движения их, кроме замысла столкновений характеров, есть у меня еще замысел исторический, который чрезвычайно усложняет мою работу, с которою я не справлюсь, как кажется. И от этого в первой части я занялся исторической стороной, а характер стоит и не движется. И это недостаток, который я ясно понял вследствие вашего письма и надеюсь, что исправил. Пожалуйста,

пишите мне, милый друг, все, что вы думаете обо мне, т. е. о моем писании, дурного. Мне всегда это в великую пользу, а кроме вас, у меня никого нет».

Но по мере выхода следующих частей романа он побеждал все более и более своих читателей, и отзывы друзей Л. Н-ча меняются. Тургенев пишет Фету 12 апреля 1868 года:

«Я только что кончил 4-й том «Войны и мира». Есть вещи невыносимые и есть вещи удивительные, и удивительные эти вещи, которые, в сущности, преобладают, так великолепно хороши, что ничего лучшего у нас никогда не было написано никем, да вряд ли и было написано что-нибудь столь хорошее. 4-й и 1-й тома слабее 2-го и особенно 3-го. 3-й том почти весь *chef d'oeuvre*».

Боткин в письме Фету от 26 марта 1868 года из Петербурга говорит следующее:

«Между тем успех романа Толстого, действительно, необыкновенный. Здесь все читают его, и не только читают, но и приходят в восторг. Как я рад за Толстого. Но от литературных людей и военных специалистов слышатся критики. Последние говорят, что, например, Бородинская битва описана совсем неверно, и приложенный Толстым план ее произволен и не согласен с действительностью. Первые находят, что умозрительный элемент романа очень слаб, что философия истории мелка и поверхностна, что отрицание преобладающего влияния личности в событиях есть не более как мистическое хитроумие, но помимо всего художественный

талант автора вне всякого спора. Вчера у меня обедал и был Тютчев, и я сообщаю отзыв компании».

По поводу критической статьи Анненкова о «Войне и мире» Тургенев пишет самому Анненкову следующее:

Баден-Баден, 1868 года 2 февраля.

...Я прочел роман Толстого и вашу статью о нем. Скажу вам без комплиментов, что вы давно ничего умнее и дельнее не писали; вся статья свидетельствует о верном и тонком критическом чутье автора, и только в двух-трех фразах заметна неясность и как бы спутанность выражений. Сам роман возбудил во мне весьма живой интерес: есть целые десятки страниц сплошь удивительных, первоклассных, – все бытовое, описательное – охота, катанье ночью и т. д.; но историческая прибавка, от которой, собственно, читатели в восторге, – кукольная комедия и шарлатанство. Как Ворошилов в «Дыме» бросает пыль в глаза тем, что цитирует последние слова науки, не зная ни первых, ни вторых, чего, например, добросовестные немцы и предполагать не могут, так Толстой поражает читателя носком сапога Александра, смехом Сперанского, заставляя думать, что он все об этом знает, коли даже до этих мелочей дошел, а он и знает только эти мелочи. Фокус и больше ничего, но публика на него-то и попала. И насчет так называемой «психологии» Толстого можно многое сказать; настоящего развития нет ни в одном характере (что, впрочем, вы отлично заметили), а есть старая

замашка передавать колебания, вибрации одного и того же чувства, положение, то, что он столь беспощадно вкладывает в уста и сознание каждого из своих героев: люблю, мол, я, а в сущности – ненавижу и т. д. Уж как приелись и надоели эти quasi-тонкие рефлексии и размышления и наблюдения за собственными чувствами! Другой психологии Толстой словно не знает или с намерением ее игнорирует. И как мучительны эти преднамеренные, упорные повторения одного и того же штриха – усики на верхней губе княжны Волконской и т. д. Со всем тем есть в этом романе вещи, которых, кроме Толстого, никому в целой Европе не написать, и которые возбудили во мне озноб и жар восторга».

Тургенева захватывала и восторгала внешняя художественная сторона «Войны и мира», самая же идея, которой это произведение служило воплощением, была ему настолько чужда, что он не переставал осуждать ее. Тому же Анненкову он, например, пишет:

Из Баден-Бадена. 1868 года 13 апреля.

«Доставили мне 4-й том Толстого... Много там прекрасного, но и уродства не оберешься. Беда, коли автодиктат, да еще во вкусе Толстого, возьмется философствовать: непременно оседлает какую-нибудь палочку, придумает какую-нибудь систему, которая, по-видимому, все разрешает очень просто, как, например, исторический фатализм, да и пошел писать. Там, где он касается земли, он, как Антей, снова по-

лучает свои силы: смерть старого князя, Алпатыч, бунт в деревне, – все это удивительно...»

Наконец, по окончании 5-го тома, Боткин пишет Фету в июне 1869 года:

«Мы только на днях кончили «Войну и мир». Исключая страниц о масонстве, которые малоинтересны и как-то скучно изложены, этот роман во всех отношениях превосходен. Но неужели Толстой остановится на 5-й части? Мне кажется, это невозможно. Какая яркость и вместе глубина характеристики! Какой характер Наташи и как выдержан! Да, все в этом превосходном произведении возбуждает глубочайший интерес. Даже его военные соображения полны интереса, и мне в большей части случаев кажется, что он совершенно прав. И потом, какое это глубокое русское произведение!»

Как всякое значительное событие, появление «Войны и мира» вызвало некоторую полярность в общественном мнении и в представителях его в критической литературе. Критики разделились на хвалителей и озлобленных ругателей этого произведения. Этому способствовало известное удаление Л. Н-ча от так называемых прогрессивных современных общественных течений. Руководители этих течений не могли простить Льву Николаевичу его равнодушия к тем вопросам, которые волновали их, и уже одно печатание «Войны и мира» в «Русском вестнике» (с которым по своим убеждениям Л. Н-ч ничего не имел общего) в глазах их накладывало

клеймо позора на это произведение и лишало их той пронизательности, с которой они относились к другим явлениям жизни.

Так, Н. В. Шелгунов писал об этом романе, между прочим, следующее:

«...Еще счастье, что гр. Толстой не обладает могучим талантом, что он живописец военных пейзажей и солдатских сцен. Если бы к слабой опытной мудрости гр. Толстого придать силу таланта Шекспира или даже Байрона, то, конечно, на земле не нашлось бы такого сильного проклятия, которое бы следовало на него обратить».

В его полемическом увлечении Шелгунову казалось, что это произведение будет скоро забыто, что оно уже забывается. В той же статье он пишет:

«Когда явился в свет последний том романа «Война и мир», то первые тома были почти забыты; по крайней мере, интерес, возбужденный произведением графа Л. Толстого в самом начале, под конец упал. Что это значит? Чем это объясняется? Это объясняется отсутствием глубоко жизненного содержания, которое одно может дать литературному произведению долговечность и постоянно возрастающий интерес во мнении критики и публики. Такого содержания нет у гр. Толстого. А между тем гр. Толстой претендует в своем последнем романе на философские воззрения».

Конечно, это была ошибка. «Война и мир» с тех пор выдержала около 15 изданий (причем несколько последних из-

даний печаталось по 15000 экз.). С конца 70-х годов роман этот стал появляться на европейских языках и сразу занял передовое, если не первенствующее положение в общеевропейской литературе.

Рядом с этим крайним принижением «Войны и мира» мы, ради контраста, можем поставить и его крайнее превознесение.

Заключая одну из своих критических статей, Н. Н. Стрехов говорит так:

«Полная картина человеческой жизни.

Полная картина тогдашней России.

Полная картина всего того, что называется историей и борьбой народов.

Полная картина всего, в чем люди полагают свое счастье и величие, свое горе и унижение.

Вот что такое «Война и мир».

Некоторые критики до того были увлечены, помимо своей воли, жизненной правдой произведения, что неблагоприятный оборот в жизни его героев принимали за личное оскорбление и обрушивались на Толстого бурными потоками осуждений и обличений за то, что он смел, например, не женить Ростова на Соне и т. д. Или что Ростов не так совсем должен был сделать предложение княжне Марье. В той страсти, с которой эти критики нападают на автора «Войны и мира»,

я вижу наивысшую похвалу ему.

Приведем еще несколько образцов озлобленной критики, характеризующей настроение известной части тогдашнего общества.

Так, А. П. Пятковский в газете «Неделя», еще не дождавшись конца романа, уже объявляет его слишком длинным и скучным и так заканчивает свою статью о «Войне и мире»:

«Не поймав главной характеристической черты александровского времени, не оценив значения важнейших исторических лиц, гр. Толстой, естественно, не мог сконцентрировать своего романа и разобраться в мелочах и деталях, не связанных никакою общею идеей. Он принялся описывать баталии, московские сплетни, салонные интриги и любовные приключения. Эпоха 12-го года заняла уже целый том, а читатель все-таки не понимает, в чем дело. Только одна сценка, невзначай рассказанная гр. Толстым (она приведена в начале статьи), бросает луч света на закулисную историю народной войны. Остальное все как в реляциях: Кутузов, Багратион, Шевардинский редут и проч. Благодаря отсутствию всякого плана и всякой логической концепции между рассказываемыми событиями, роман Толстого можно разогнать не на четыре, а на двадцать четыре тома. Хватит ли только у публики терпения дожидаться конца? А гр. Толстой, кажется, не намерен церемониться и, как слышно, написал уже пятый том. Конца же все нет и нет».

Некий Навалихин в журнале «Дело» (1868, 6), в статье с язвительным заглавием «Изящный романист и его изящные критики», дает такие отзывы о «Войне и мире»:

«В том же виде, как роман написан, он представляет ряд возмутительных грязных сцен, которых смысл и значение явно не понимаются автором и которые поэтому равносильны ряду фальшивых нот. Он в таком умилении от своих героев, что ему кажется каждый их поступок, каждое их слово интересным: на этих страницах видишь уж не героев, а умиление самого автора, восхищающегося людьми, которых вид заставляет содрогаться от ужаса и негодования».

Далее он говорит:

«С начала до конца у гр. Толстого восхваляются буйства, грубость и глупость. Читая военные сцены романа, постоянно кажется, что ограниченный, но речистый унтер-офицер рассказывает о своих впечатлениях в глухой и наивной деревне. Невозможно не чувствовать, однако же, что тут и рассказчик, и слушатели совсем другие, поэтому рассказ беспрерывно больно и неловко задевает, как те фальшивые ноты, которые заставляют судорожно исказить лица и скрежетать зубами».

Конечно, подобные дикие выходки не имеют критического значения, а лишь психологическое. Читая их, мы невольно вспоминаем слова Н. Н. Страхова в одной из его критических статей:

«И такие люди судили, судят и будут судить о «Войне и

мире!»

В другом месте по поводу этих критиков Н. Н. Страхов говорит следующее:

«Критиков же наша литература не столько занимает, сколько беспокоит своим существованием: они вовсе не желают о ней помнить и думать, а только досадают, когда она напоминает им о себе новыми произведениями.

Таково действительно было впечатление, произведенное появлением «Войны и мира». Для многих, с наслаждением занимавшихся чтением последних книжек журналов и в них своих собственных статей, было чрезвычайно неприятно убедиться, что есть какая-то другая область, о которой они не думали и думать не хотели и в которой, однако же, создаются явления огромных размеров и блистательной красоты. Каждому дорого свое спокойствие, самолюбивая уверенность в своем уме, в значении своей деятельности, и отсюда объясняются те озлобленные вопли, которые у нас поднимаются в частности на поэтов и художников, и вообще на все, что уличает нас в невежестве, забвении и непонимании».

Но обратимся к тем серьезным ценителям, которые своими мыслями, изложенными ими по поводу «Войны и мира», что-нибудь прибавляют к содержанию этого произведения и могут до некоторой степени разъяснить недосказанное в нем. Чтобы вывести некоторые общие заключения из множества критических статей, до сих пор, т. е. в течение сорока лет, не перестающих появляться в печати по поводу «Войны

и мира», мы должны принять некоторую систему.

При самом беглом обозрении этого произведения мы замечаем в нем три части: художественную, историческую и философскую.

Художественная часть представляет нам разного рода характеры, типы, движение чувств и событий.

Историческая часть распадается на общую историческую и военно-историческую.

Философская часть изображает нам общую основную идею произведения, которую иллюстрируют и подтверждают первые две части.

Эти три части переплетаются между собой, почти совмещаются в некоторых ярких чертах и изображениях – иногда же они распадаются и идут одна за другой, независимо и параллельно.

Постараемся дать лучшие образцы критических суждений по каждой из этих трех частей «Войны и мира».

Чтобы лучше ориентироваться в этом обширном и сложном материале, мы сделаем еще очень важное ограничение. Мы рассмотрим только современные самому произведению критические отзывы 60-х годов, т. е. такие, которые вызваны самим романом, а не общею литературной деятельностью Л. Н-ча. Есть много прекрасных критических статей, написанных в позднейшее время и трактующих о «Войне и мире» с точки зрения теперешнего мировоззрения Толстого. Хотя подобные критические статьи представляют сами собою

большой интерес для нас, с биографической точки зрения они имеют иное значение и будут нами рассмотрены в своем месте. Нам нужно изобразить жизненное событие в тех условиях, в которых оно действительно совершилось.

В художественной области мы дадим образцы суждений двух крайних литературных партий.

Д. И. Писарев в «Отечественных записках» в статье «Старое барство» (1868) говорит следующее:

«Новый, еще не оконченный роман гр. Толстого можно назвать образцовым произведением по части патологии русского общества. В этом романе целый ряд ярких и разнообразных картин, написанных с самым величественным и невозмутимым эпическим спокойствием, ставит и решает вопрос о том, что делается с человеческими умами и характерами при таких условиях, которые дают людям возможность обходиться без знаний, без энергии и без труда.

Очень может быть, и даже очень вероятно, что гр. Толстой не имеет в виду постановки и решения такого вопроса. Очень вероятно, что он просто хочет нарисовать ряд картин из жизни русского барства во времена Александра I. Он видит сам, старается показать другим, отчетливо, до мельчайших подробностей и оттенков, все особенности, характеризующие тогдашние времена и тогдашних людей, людей того круга, который всего более ему интересен или доступен его изучению. Он старается только быть правдивым и точным: его усилия не клонятся к тому, чтобы поддержать или

опровергнуть создаваемыми образами какую бы то ни было теоретическую идею: он, по всей вероятности, относится к предмету свою продолжительных и тщательных исследований с тою невольною и естественною нежностью, которую обыкновенно чувствует даровитый историк к далекому или близкому прошедшему, воскресающему под его руками; он, быть может, находит даже в особенностях этого прошедшего, в фигурах и характерах выведенных личностей, в понятиях и привычках изображенного общества многие черты, достойные любви и уважения. Все это может быть, все это даже очень вероятно. Но именно оттого, что автор потратил много времени, труда и любви на изучение и изображение эпохи и ее представителей, именно поэтому созданные им образы живут своею собственною жизнью, независимо от намерения автора, вступают сами в непосредственные отношения с читателями, говорят сами за себя и неудержимо ведут читателя к таким мыслям и заключениям, которых автор не имел в виду и которых он, быть может, даже не одобрил бы».

Поняв с такою серьезностью художественный характер «Войны и мира», Писарев прекрасно резюмирует черты двух героев, представляющих два противоположные психологические типы – Бориса Друбецкого и Николая Ростова. С одной стороны холодный расчет, с другой – непосредственное чувство.

«Николай Ростов – это совершенная противоположность Борису. Друбецкой – расчетлив, сдержан, осторожен, все

размеряет и взвешивает и во всем действует по заранее обдуманному плану. Ростов, напротив того, смел, пылок, не способен и не любит соображать, всегда поступает очертя голову, всегда весь отдается первому влечению и даже чувствует некоторое презрение к тем людям, которые умеют сопротивляться воспринимаемым впечатлениям и перерабатывать их в себе.

Борис, без всякого сомнения, умнее и глубже Ростова. Ростов, в свою очередь, гораздо даровитее, отзывчивее и многостороннее Бориса. В Борисе гораздо больше способности внимательно наблюдать и осторожно обобщать окружающие факты. В Ростове преобладает способность откликаться всем своим существом на все, что просит, и даже на то, что не имеет права просить у сердца ответа. Борис, при правильном развитии своих способностей, мог бы сделаться хорошим исследователем. Ростов, при таком же правильном развитии, сделался бы, по всей вероятности, недюжинным художником, поэтом, музыкантом или живописцем.

Существенное различие между обоими молодыми людьми обозначается с первого их шага на жизненном поприще. Борис, которому нечем жить, протискивается по милости своей пресмыкающейся матери в гвардию и живет там на чужой счет, чтобы только быть на виду и почаще приходиться в соприкосновение с высокопоставленными особами. Ростов, получающий от отца по 10000 рублей в год и имеющий полную возможность жить в гвардии не хуже других

офицеров, идет, пылая воинственным и патриотическим жаром, в армейскую кавалерию, чтобы поскорее побывать в деле, погарцевать на ретивой лошади и удивить себя и других подвигами лихого наездничества. Борис ищет прочной и осязательной выгоды. Ростов желает прежде всего и во что бы то ни стало шума, блеска, сильных ощущений, эффектных сцен и ярких картин. Образ гусара, как он летит в атаку, машет саблей, сверкает очами, топчет трепещущего врага стальными копытами неукротимого коня, образ гусара, как он размашисто и шумно пирует в кругу лихих товарищей, прокопченных пороховым дымом, образ гусара, как он, закручивая длинные усы, звеня шпорами, блистая золотыми шнурками венгерки, своим орлиным взором посеивает тревогу и смятение в сердцах молодых красавиц, – все эти образы, сливаясь в одно смутное, обаятельное впечатление, решают судьбу юного и пылкого графа Ростова и побуждают его, бросив университет, в котором он, без сомнения, находил очень мало для себя привлекательного, кинуться стремглав и окунуться с головою в жизнь армейского гусара.

Борис вступает в свой полк спокойно и хладнокровно, держит себя со всеми прилично и кротко, но ни с полком вообще, ни с кем-либо из офицеров в особенности не завязывает никаких тесных и душевных отношений. Ростов буквально бросается в объятия Павлоградского полка, пристращается к нему, как в своей новой семье, сразу начинает дорожить его честью, как своею собственною, из восторжен-

ной любви к этой чести делает опрометчивые поступки, ставит себя в неловкие положения, ссорится с полковым командиром, кается в своей неосторожности пред синклитом старых офицеров и при всей своей юношеской обидчивости и вспыльчивости покорно выслушивает дружеские замечания стариков, поучающих его уму-разуму и преподающих ему основные начала павлоградской гусарской нравственности.

Борис норовит улизнуть как можно скорее из полка куда-нибудь в адъютанты. Ростов считает переход в адъютанты какой-то изменою милому и родному Павлоградскому полку. Для него это почти все равно, что бросить любимую женщину, чтобы по расчету жениться на богатой невесте. Все адъютанты, все «штабные молодчики», как он их презрительно называет, в его глазах какие-то бездушные и недостойные отступники, продавшие своих братьев по оружию за блюдо чечевицы. Под влиянием этого презрения он без всякой уважительной причины, к ужасу и досаде Бориса, в квартире последнего заводит ссору с адъютантом Болконским, ссору, которая остается без кровопролитных последствий только благодаря спокойной твердости и самообладанию Болконского».

У нас нет возможности делать более длинные выписки, но нам кажется, этого достаточно для указания на характер критики.

Совсем с другого конца берется за ту же работу литературный антипод Писарева Н. Н. Страхов.

Сначала критик выставляет на вид общие художественные достоинства «Войны и мира» и говорит о силе психологического анализа и о способности автора в живых образах передавать результаты этого анализа. Вот несколько характерных выписок, говорящих об этом:

«Художник ищет следов красоты души человеческой, ищет в каждом изображаемом лице той искры божией, в которой заключается человеческое достоинство личности, – словом, старается найти и определить со всею точностью, каким образом и в какой мере идеальные стремления человека осуществляются в действительной жизни.

В каждом лице автор изображает все стороны душевной жизни – от животных поползновений до той искры героизма, которая часто таится в самых малых и извращенных душах.

Какое бы чувство ни владело человеком, это изображается у Л. Н. Толстого со всеми его изменениями и колебаниями, – не в виде какой-то постоянной величины, а в виде только способности к известному чувству, в виде искры, постоянно тлеющей, готовой вспыхнуть ярким пламенем, но часто заглушаемой другими чувствами. Вспомните, например, чувство злобы, которое князь Андрей питает к Куракину, доходящее до странности; противоречия и перемены в чувствах княжны Марьи, религиозной, влюбчивой, безгранично любящей отца и т. д.

Видеть то, что таится в душе человека под игрою страстей, под всеми формами себялюбия, своекорыстия, живот-

ных влечений, – вот на что великий мастер гр. Л. Н. Толстой».

От этой частной психологии критик переходит к психологии рациональной. Опираясь на мысль, высказанную современным критиком Аполлоном Григорьевым о преобладании в нарождающейся русской литературе особого национального типа – смиренного, простого, берущего верх над типом блестящим и хищным, мысль, высказанную А. Григорьевым до появления «Войны и мира», Н. Н. Страхов усматривает в «Войне и мире» именно это торжество национального типа и подтверждает это следующими указаниями:

«Война и мир» – эта огромная и пестрая эпопея – что она такое, как не апофеоз смиренного русского типа? Не тут ли рассказано, как, наоборот, хищный тип спасовал перед смиренным, как на Бородинском поле простые русские люди победили все, что только можно представить себе самого героического, самого блестящего, страстного, сильного, хищного, т. е. Наполеона I и его армию?

Все фальшивое, блестящее только по внешности, – беспощадно разоблачается художником. Под искусственными, наружно изящными отношениями высшего общества он открывает нам целую бездну пустоты, низких страстей и чисто животных влечений. Напротив, все простое и истинное, в каких бы низменных и грубых формах оно ни проявлялось, находит в художнике глубокое сочувствие. Как ничтожны и пошлы салоны Анны Павловны Шерер и Элен Безуховой, и

какой поэзией облечен смиренный быт дядюшки!

Художник изобразил со всей ясностью, в чем русские люди полагают человеческое достоинство, в чем тот идеал величия, который присутствует даже в слабых душах и не оставляет сильных даже в минуты их заблуждений и всяких нравственных падений. Идеал этот состоит, по формуле, данной самим автором: в простоте, добре и правде. Простота, добро и правда победили в 1812 году силу, не соблюдавшую простоты, исполненную зла и фальши. Вот смысл «Войны и мира».

Наконец, критик такими словами заключает свою оценку «Войны и мира»:

«Кто умеет ценить высокие и строгие радости духа, кто благоговеет перед гениальностью и любит освежать и укреплять свою душу созерцанием ее произведений, тот пусть порадует, что живет в настоящее время».

В середине между этими двумя крайними критиками можно поставить Скабичевского, который в своих критических очерках дает основательное и добросовестное обозрение художественной части «Войны и мира». При этом впадает в ту ошибку, что преждевременно уподобляет Л. Н-ча Гоголю, «свихнувшемуся» на 2-й части «Мертвых душ». Скабичевскому кажется, что 2-я часть «Войны и мира» напоминает своим уклонением от философии печальный конец Гоголя. Если в последовавшем за большими романами религиозном кризисе Толстого и можно найти некоторую ана-

логию с кризисом Гоголя, то уподобление Толстого Гоголю со стороны художественного творчества уже не выдерживает ни малейшей критики. Все мы, пережившие период кризиса Толстого, можем засвидетельствовать то, что творчество Толстого не ослабло ни в количественном, ни в качественном отношении, оно приобрело лишь новую непоколебимую силу, ясность и твердость убеждения.

Историческая критика распадается на два отдела, соответственно содержанию романа, дающего эпизоды общеисторические и собственно события, касающиеся военной истории. «Война и мир» с исторической точки зрения вызвала также весьма разноречивые толки. Начиная с Тургенева, видевшего в исторической части «Войны и лира» лишь «фокус и больше ничего» и до Пятковского, употребляющего в своей статье «Историческая эпоха в романе Л. Н. Толстого» такие выражения: «Чтобы выдержать свою теорию исторического бессмыслия и применить ее к целому ряду фактов, гр. Толстой нарочно старается напутать и нагородить как можно больше в своем романе». Мы можем найти целый ряд критических статей того времени, не видящих никакого исторического значения за романом «Война и мир».

Но рядом с этим мы видим другой ряд критиков, во главе с Овсяннико-Куликовским, который в одной из своих позднейших статей возвеличивает историческое значение «Войны и мира» до степени народного эпоса, называет «Войну и мир» русскими Илиадой и Одиссеей.

Хотя «история» затронута в романе во всей ее широте, но, собственно, «исторической» критики было мало. Так как наиболее яркие картины надо отнести к «военной истории» или, по крайней мере, к той части истории, в которой фигурируют военные события и военные люди, то и наиболее интересные критики можно найти в военной среде.

Из них мы опять приведем как наиболее яркие отрицательные отзывы, так и наиболее серьезные из положительных оценок.

А. Н. Попов, автор замечательной, но, к сожалению, до сих пор еще не появившейся в печати «Истории Отечественной войны 1812 года», сказал однажды в разговоре с В. Скабичевским:

«В числе очень важных исторических материалов, найденных мною, заключается и «Война и мир» Толстого. Конечно, я не пишу историю по роману, но очень часто, при освещении известного события, советуюсь с «Войной и миром». В моих руках много совершенно никому не известных, новых документов, о которых, очевидно, не имел понятия и Толстой. Документы эти проливают новый свет на очень важные минуты, на основании их я объясняю события совершенно иначе, чем объясняли их мои предшественники, военные историки. И в «Войне и мире» нахожу описание этого события и объяснения его совершенно тождественными с моими описаниями и объяснениями. Очень часто я рассказываю на основании непреложных исторических данных; гр.

Толстой, не знакомый с этими данными, рассказывал на основании своего творческого прозрения, а выводы наши выходят одни и те же – так как же мне не советоваться с «Войной и миром»?

Но далеко не все военные были довольны тем, как Л. Н. Толстой изобразил войну 1805–1812 года.

Были такие критики «Войны и мира», которые считали себя лично оскорбленными тем правдивым тоном, которым написаны Л. Н. чем картины военных событий. Таковы были старые генералы, участники и очевидцы событий. Так, А. С. Норов написал большую критическую статью в этом оскорбленном тоне и поместил ее в «Военном сборнике» под заглавием «Война и мир» с исторической точки зрения и по воспоминаниям современников».

Одним из серьезных военных критиков Толстого является генерал Драгомиров, написавший ряд очерков под названием: «Война и мир» с военной точки зрения». Общий характер критики Драгомирова выясняется из первых слов его очерка:

«Роман Толстого интересен для военного в двояком смысле: по описанию военных и войскового быта и по стремлению сделать некоторые выводы относительно теории военного дела. Первые, т. е. сцены, неподражаемые и, по нашему крайнему убеждению, могут составить одно из самых полезных прибавлений к любому курсу теории военного искусства, вторые, т. е. выводы, не выдерживают самой снисхо-

дательной критики по своей односторонности, хотя они интересны как переходная ступень в развитии воззрения автора на военное дело».

Мы не считаем возможным следовать за автором в его восхищениях от описаний военного быта, так как считаем, что чувства эти общи всем читателям «Войны и мира», за самыми малыми исключениями. Не считаем себя также компетентными становиться судьей между критиком и автором для определения, кто из них прав во взглядах на «военную науку». Мы можем только сказать, что возражения Драгомирова грешат тем, что они разбирают военные взгляды Л. Н-ча как таковые, без их соотношения к основным взглядам автора и к основной идее всего произведения, откуда «военные взгляды» являются неизбежным последствием. Большинство военных критиков сходятся на том убеждении, что из художественных очерков Л. Н. Толстого военные историки могут многому научиться.

Философская, идейная часть «Войны и мира» встретила мало сочувствия в публике, еще меньше понимания.

Даже Н. Н. Страхов, больше комментировавший, чем критиковавший «Войну и мир», и тот, отнесясь сочувственно к выраженным в романе идеям, говорит, что было бы лучше, если бы философия истории была выделена в отдельный трактат, отчего выиграла бы ясность выраженных мыслей.

Только один проф. Овсянико-Куликовский в своих недавних очерках признал единство всех элементов (художествен-

ного, исторического и философского) «Войны и мира», их взаимно дополняющее значение и с этой точки зрения написал прекрасный анализ национальных и великосветских типов «Войны и мира».

Проф. Кареев в своей публичной лекции в 80-х годах сделал большую ошибку при разборе философии истории в «Воине и мире», выделив этот элемент и подвергнув его критике независимо от связи его со всем произведением. Результат его исследования, конечно, получился отрицательный; отдавая дань художественному реализму автора, он упрекает его в социальном индифферентизме.

То отношение автора к известным общественным явлениям, которое Кареев окрестил именем «социального индифферентизма», есть одно из проявлений тех общих идей, которые проходят через весь роман, отражаются в каждом событии, и упрекать автора за это, не подвергнув критике основные его положения, все равно, что упрекать строителя, зачем он сделал на здании квадратную крышу, не сказав, почему не следовало закладывать квадратного фундамента.

Да послужат все эти взаимно уничтожающиеся в своих противоречиях критические курьезы поучением последующим авторам и да предохранят они их от слишком большой чувствительности к этим нападкам и похвалам.

Сам Л. Н-ч не читал критики на свои произведения. Только немногие отзывы его личных друзей, как мы видели, интересовали его. К числу этих друзей можно отнести и Страхо-

ва, хотя Л. Н-ч познакомился с ним уже гораздо позже окончания «Войны и мира» и, стало быть, после его критических статей. Из личных сношений со Страховым Л. Н-ч мог знать его отношение к своему произведению и выражал это отношение так:

«Н. Н. Страхов поставил «Войну и мир» на высоту, на которой она и удержалась».

Некоторые иностранные критики касаются идейной стороны «Войны и мира», но критики эти большею частью стали появляться лишь в 80-х годах, когда за границей уже были распространены «Исповедь», «В чем моя вера?» и др. религиозно-философские произведения Л. Н. Толстого, и потому иностранные критики редко касаются отдельных произведений Л. Н. Толстого, а говорят о его общих идеях, смешивая различные стадии его мировоззрения. Принимая во внимание скудность этой идейной критики, мы с помощью всего имеющегося у нас материала постараемся в кратких словах выяснить идейное значение «Войны и мира» с интересующей нас биографической точки зрения. Другими словами, мы постараемся вкратце описать тот момент идейной жизни Л. Н-ча, который соответствует времени написания «Войны и мира», и посмотрим, как выразилось его тогдашнее мировоззрение в созданных им типах, в описанных им событиях и в изложенных им идеях.

Кипящая страстями бурная природа Л. Н-ча редко когда находила покой. А между тем творческая работа возможна

была только при некотором успокоении. И вот мы можем заметить эти периоды покоя по проявлявшейся силе творчества. После бурного периода яснополянской жизни в конце 40-х годов Л. Н-ч едет на Кавказ с братом, и его захватывают впечатления от чудной новой кавказской природы, дикой кавказской военной жизни. Большая часть душевных сил фиксируется, таким образом утоляется ненасытная жажда впечатлений и наступает период успокоения и творчества, появляются «Детство», «Отрочество», «Юность», кавказские, севастопольские рассказы. Но вот обстоятельства меняются, меняются люди, и снова бушуют страсти и не находят себе удовлетворения, и в творчестве наступает затишье.

Петербургская литературная жизнь, хозяйство, заграничные поездки – все это развлекает, но не успокаивает его. Но вот он возвращается из второго путешествия и отдается педагогической деятельности. Снова фиксируется большая часть его душевных сил, и педагогическое творчество выливается из него обильным потоком. Он создает целую систему, дает массу образцов, пишет ряд статей, издает журнал.

Конечно, душевная жизнь его шла более сложным, глубоким путем, трудно изобразимым. Мы набрасываем только схему ее.

Страдая от мучивших его страстей, он еще более страдает от мучивших его сомнений. Одним из сильных душевных свойств его был неумолимый анализ всех окружавших

его явлений. И этот самый анализ, сжигавший душу его, вызывал неутомимую жажду синтеза, общего вывода, смысла жизни, который дал бы ему равновесие душевных сил. И он не мог найти его.

Припомним его отчаянные слова в «Исповеди», относящиеся к началу 60-х годов:

«В продолжение года я занимался посредничеством, школами и журналами и так измучился, от того особенно, что запутался... что заболел более духовно, чем физически, – бросил все и поехал в степь к башкирам – дышать воздухом, пить кумыс и жить животною жизнью. Вернувшись оттуда, я женился».

Потребность женитьбы, семейной жизни давно беспокоила Л. Н-ча, и, наконец, он у тихой пристани. Семейная жизнь захватывает его с необычайною силою, снова фиксирует его страсти и освобождает его творческие силы. И в течение первых пяти лет он создает небывалое по силе и могуществу произведение – «Войну и мир».

Какому же моменту его душевного развития соответствовало это произведение?

Посредничество, педагогические занятия, хозяйство – все это с той или другой стороны сближало Л. Н-ча с народом. Он приходил с ним в самые разнообразные столкновения, изучал его внешний быт и с особым увлечением и умилением проникал в народную душу; нет и не было и не скоро будет еще человека, который бы с такой силой художественно-

го анализа и синтеза, т. е. творчества, воссоздал тип русской народной души во всем разнообразии и во всем его величественном единстве.

Вот это созерцание души народа и неудержимое стремление изобразить ее было, по нашему мнению, одною из сил, создавших «Воину и мир». Но над этим народом, к которому всегда тянулась душа Л. Н-ча, стоял другой класс, так называемый высший, правящий, привилегированный, к которому принадлежал сам Л. Н-ч, носивший в себе наследие многих поколений. Он знал и любил его, как свою родную стихию, как любят семью, дом, родной угол, И к изображению этой части русских людей также влекла душа его. Он искал такое явление русской жизни, в котором бы проявились наиболее ярко характерные черты того и другого класса. Он нашел это явление в наполеоновских войнах начала прошлого столетия.

К интересу характерных положений русского народа и русского высшего общества присоединился еще интерес исторический, и работа эта увлекла все его творческие силы.

Жизнь народа изображена им как могучая стихия, как океан, то отражающий небо, то с всеокрушающей силой смывающий все на своем пути.

Она выразилась и в массовых народных движениях и трогательных отдельных типах, из которых один Платон Каратаев уже составляет эпоху в понимании и изображении русского народа, и в удивительном типе Кутузова, каким-то особен-

ным инстинктом чуявшим направление этой стихийности и умевшим отдавать свои силы не на помеху, а во благо ей.

Жизнь высшего общества изображена им с необычайной психологической глубиной, так сказать, с анатомическим или химическим анализом его элементов. Беспощадно обличая пустоту, тщеславие, всякого рода преступность этого класса, он в то же время дает типы с проявлением высшего морального сознания, до которого только мог он сам подняться в лучшие сильнейшие минуты своей духовной жизни.

Князь Андрей и Пьер Безухов, эти психологические анти-тезы холодного скептика и наивного мечтателя, с двух противоположных сторон приходят, или, вернее, приводятся жизнью к богу. С необычайной правдивостью и искренностью изображает в них автор разные стороны, разные моменты своей души. Всегда стремившийся к самой высокой религиозной правде, Л. Н-ч в то время еще не сознавал ее ясно, не сознают ее и его герои. Один страданием, смертью, другой прикосновением к всегда правдивой и потому божественной стихийной народной жизни – приводятся к радостному ощущению, к близости божества, но оно остается для них все же подернутым какою-то неразгаданною тайной.

К этим внутренним идеям, выраженным в «Войне и мире», надо присоединить еще идеи более внешнего, объективного, исторического характера.

В своей статье «Несколько слов по поводу книги «Война и мир» он говорит, между прочим, перечисляя различные

пункты, по которым он дает объяснение:

«Наконец, шестое и важнейшее для меня соображение касается того малого значения, которое, по моим понятиям, имеют так называемые великие люди в исторических событиях. Изучая эпоху столь трагическую, столь богатую громадностью событий и столь близкую к нам, о которой живо столько разнороднейших преданий, я пришел к очевидности того, что нашему уму недоступны причины совершающихся исторических событий.

Такое событие, где миллионы людей убивали друг друга и убили половину миллиона, не может иметь причиной волю одного человека: как один человек не может подкопать гору, так не может один человек заставить умирать 500 тысяч».

Развивая такие мысли более подробно в особых и философских главах, Л. Н-ч подвергает критике прежние и новые исторические методы, от Гиббона до Бокля. Давая новые определения свободе воли и закону необходимости, он ставит исторической науке требования изучения и определения законов, по которым совершается движение человечества.

Если же ко всему этому придать художественность изображения всех явлений человеческой жизни, от едва уловимого внутреннего движения души человеческой до изображения стотысячных армий, смешавшихся в адской битве на Бородинском поле, то получится впечатление необъятности этого произведения, которое, думаем мы, составляет одно из крупнейших событий в жизни Л. Н-ча Толстого.

Но жизнь эта была так полна, так разнообразна и всеобъемлюща, что, несмотря на большую трату ее, ушедшую на создание этого произведения, она проявлялась в то же время еще и во многих менее значительных фактах, к описанию которых мы теперь и приступим.

Глава 4. Из частной жизни Льва Николаевича 60-х годов

В нашем кратком историческом очерке «Войны и мира» мы оставили личную жизнь Л. Н-ча на том моменте, когда он, вылечив свою вывихнутую руку, вернулся домой, т. е. в декабре 1864 года.

В 1865 году он еще продолжает вести свой дневник. 7-го марта он кратко описывает: «Начинаю любить сына».

В сентябре 1864 г. со своею всегдашнею искренностью он записал: «Сын мало близок». Очевидно, что чувства Левина к новорожденному сыну, описанные к «Анне Карениной», списаны Л. Н-чем с натуры, с самого себя. Но малейший проблиск человеческого образа – и Лев Николаевич уже чувствует в себе зарождение отеческой любви.

Весной 1865 года, независимо от работ по писанию «Войны и мира», Л. Н-ч опять читал Гете. В его дневнике того времени есть заметка о «Фаусте» Гете: «Поэзия мысли и поэзия, имеющая предметом то, что не может выразить никакое другое искусство».

Осенью того же года мы находим такую интересную заметку о чтении:

«Читал Тrolлопа – хорошо. Есть поэзия романиста: 1) в интересе сочетания событий – Бреддон, мои «Казачи» (будущие); в картине нравов, построенных на историческом со-

бытии – «Одиссея», «Илиада», «1805 год»; 3) в красоте и веселости положения – Пиквик, «Отъезжее поле»; в характерах людей – Гамлет – мои будущие... А. Г. – распушенность, Ч. – тупой ум, С. – ограниченность успеха, Н. – лень, С. Л. – строгость, честность, тупоумие».

Таким образом, Л. Н-ч сам поставил свои произведения на подобающие им места, рядом с известными произведениями всемирной литературы.

Порой Л. Н-ча охватывала жажда любви к себе и другим. Очевидно, благополучная семейная жизнь не могла удовлетворить его. Она отвлекала его своей суетой от его внутренней работы, но не могла подавить в нем жившего в нем строгого судьи, который нет-нет, да и даст знать о себе.

Так, в феврале 1865 года Л. Н-ч писал Т. А. Берс:

«Да, вот я рассуждаю уж 2-ой день, что очень грустно оттого, что на свете все эгоисты, из которых первый я сам. Я не упрекаю никого, но думаю, что это очень скверно, и что нет эгоизма только между мужем и женой, когда они любят друг друга. Мы живем теперь 2 месяца одни-одинешеньки с детьми, которые первые эгоисты, и никому до нас дела нет. В Пирогове нас забыли и в Москве, думаем, тоже. И сам понемножку забываешь. Я не могу рассказать, что я хочу, но ты очень молода и потому, может быть, поймешь, а мне два дня все это одно в голове. И особенно Феты навели меня на эту мысль. Как хорошо тому жить и с тем жить, кто умеет любить! Ты, пожалуйста, напиши (все равно, правда или

неправда ли), что ты нас любишь – для нас. Я Лорку (собачку) полюбил за то, что она не эгоистка. Как бы это выучиться так жить, чтобы всегда радоваться другому счастью. Ты никому не читай, что я пишу, а то подумают, что я с ума сошел. Я только проснулся и в голове сумбур и раздражение, как будто мне 15 лет, и все хочется понять, чего нельзя понять, и ко всем чувствуешь нежность и раздражение».

Февраль и часть марта они проводили в Москве. Л. Н-ч в заботах о хозяйстве пишет своей тетушке Татьяне Александровне, жившей в Ясной:

«Мы живем по-старому. Соня и дети, слава богу, здоровы. У Берсов тоже все хорошо. Мы выдаемся с ними каждый день и каждый день кто-нибудь у нас или мы у кого-нибудь бываем – Перфильевы, Горчаковы, Оболенский маленький с женою. Нынче у меня будет Чичерин, которого вы так любите и который все такой же. Я думаю, Соня вам припишет еще, я же признаюсь, тороплюсь, и пишу с тем, чтобы попросить вас о милости. Я послал вчера на ваше имя семян. Будьте так добры, отдайте их садовнику и скажите, чтобы семена оранжевых растений, как-то: азалий, камелий, акаций и т. п., не сеял до моего приезда, ежели он не знает верно, в какой земле и как их надо сеять. Мы еще не получили от вас ничего; пожалуйста, напишете нам два слова, чтобы только мы знали, что вы здоровы. Что Сережа и Машенька с детьми?»

При первой возможности они возвращаются в Ясную. Там снова идет семейная суэта, родные, гости, хозяйство, охота.

В мае Л. Н-ч пишет интересное письмо Фету, выражая в нем свое настроение:

«Простите меня, любезный Афанасий Афанасьевич за то, что долго не отвечал вам. Не знаю, как это случилось. Правда, в это время был болен один из детей, и я сам едва удержался от сильной горячки и лежал три дня в постели. Теперь у нас все хорошо и даже очень весело.

У нас Таня, потом сестра со своими детьми, и наши дети здоровы и целый день на воздухе. Я все пишу понемножку и доволен своею работою. Вальдшнепы все еще тянут, и я каждый вечер стреляю по ним, т. е. преимущественно мимо. Хозяйство мое идет хорошо, т. е. мало тревожит меня, – все, что я от него требую. Вот все про меня. На ваш вопрос упомянуть о Ясной Поляне – школе, я отвечаю отрицательно. Хотя ваши доводы и справедливы, но про нее журналы забыли, и мне не хочется напоминать, не потому чтобы я отрекался от выраженного там, но, напротив, потому что не перестаю думать об этом, и ежели бог даст жизни, надеюсь еще из всего этого составить книгу с тем заключением, которое вышло для меня из моего трехлетнего страстного увлечения этим делом. Я не понял вполне то, что вы хотите сказать в статье которую вы пишете, тем интереснее будет услышать от вас, когда свидимся. Наше дело земледельческое теперь подобно делам акционера, который бы имел акции, потерявшие цену и не имеющие хода на бирже. Дело очень плохо. Я для себя решаю его только так, чтобы оно не требовало

от меня столько внимания и участия, чтобы это участие лишило меня моего спокойствия. Последнее время я своими делами доволен, но общий ход дел, т. е. предстоящее народное бедствие голода, с каждым днем мучает меня больше и больше. Так странно и даже хорошо и страшно. У нас за столом редиска розовая, желтое масло, подрумяненный мягкий хлеб на чистой скатерти, в саду зелень, молодые наши дамы в кисейных платьях рады, что жарко и тень, а там этот злой черт, голод, делает уже свое дело, покрывает поля лебедой, разводит трещины по высохнувшей земле и обдирает мозольные пятки мужиков и баб и трескает копыта у скотины. Право, страшные у нас погода, хлеба и луга. Как у вас? Напишите повернее и поподробнее. Боткин у вас. Пожмите ему от меня руку. Зачем он ко мне не заезжает? Я на днях еду в Никольское еще один, без семьи, и потому ненадолго и к вам приеду. Но то-то хорошо было бы, коли бы в это же время судьба принесла вас к Борису. Кланяюсь от себя и жены Марье Петровне. Мы в июне намерены со всею семьей переехать в Никольское, тогда увидимся, и я уж, наверное, буду у вас. Что за злая судьба на вас? Из ваших разговоров я всегда видел, что одна только в хозяйстве была сторона, которую вы сильно любили и которая радовала вас, — это коннозаводство, и на него-то и обрушилась беда. Приходится вам опять перепрягать свою колесницу, а «юхванство» перепрячь из оглобель на пристяжку, а мысль и художество уж давно у вас переезжены в корень. Я уж перепряг и гораз-

до покойнее поехал. «Довольно» мне не нравится. Личное, субъективное хорошо только тогда, когда оно полно жизни и страсти, а тут субъективность, полная безжизненного страдания».

В конце мая Л. Н-ч едет в Никольское, свое второе имение (бывшее имение брата Николая), и делает распоряжение о ремонте, чтобы можно было переехать туда с семьей. Они действительно переезжают туда в июне.

В Никольском Л. Н-ч продолжает писать «Войну и мир». Они жили тихо. Посетителей было очень мало, лишь соседями за 15 верст были Дьяковы, и они довольно часто виделись с ними.

В Никольском же навестили Толстых супруги Феты. С присущим ему юмором Фет рассказывает об этом посещении:

«Невзирая на некоторую тесноту помещения, мы были приняты семейством графа с давно испытанною нами любезностью и радушием. С приезжими хозяевами был двухлетний сынок, требовавший постоянного надзора, и девочка у груди. Кроме того, у них гостила прелестная сестра хозяйки. К приятным воспоминаниям этого посещения у меня присоединяется и неприятное. Я вообще терпеть не могу кислого вкуса или запаха, а тут, как нарочно, Л. Н. задавался мыслью о целебности кумыса, и в просторных сенях за дверью стояла большая кадка с этим продуктом, покрытая рядиной, и распространяла самый едкий кислый запах. Как бы не доволь-

ствуясь самобытной кислотой кумыса, Лев Николаевич восторженно объяснял простоту его приготовления, при котором в прокисшее кобылье молоко следует только подливать свежего, и неистощимый целебный источник готов.

При этом граф брал в руки торчащее из кадки весло и собственноручно мешал содержимое, прибавляя: «Попробуйте, как это хорошо!» Конечно, распространявшийся нестерпимый запах говорил гораздо сильнее приглашения.

Когда вечером детей уложили, я по намекам дам упросил графа прочесть что-либо из «Войны и мира». Через две минуты мы были унесены в волшебный мир поэзии и поздно разошлись, унося в душе чудные образы романа.

На другой день мы заранее просили графиню поторопить с обедом, чтобы не запоздать в дорогу.

– Ах, как это будет хорошо! – сказал граф. – Мы все вас проводим в большой линейке. Обвезем вас вокруг фатального леса и возвратимся домой с уверенностью вашего благополучного прибытия в Новоселки.

Но вот обед кончился, и я попросил слугу приказать запрягать.

– Да, да, всем запрягать! – восклицал граф. – Тройкой долгушу, и мы все пятеро поедem вперед, а ваш тарантас за нами.

Прошло более часа, а экипаж не подают. Я выбежал в сени и, услышав от слуги обычное «сейчас», – на некоторое время успокоился. Однако через полчаса я снова вышел в сени с

вопросом: «что же лошади?» На новое «сейчас» я воскликнул:

– Помилуй, брат, я уже два часа жду! Узнай, пожалуйста, что там такое?

– Дьякона дома нет, – горестно ответил слуга.

Я не без робости посмотрел на него.

– Извольте видеть, их сиятельство приехали сюда четверней, а тут, когда нужен коренной хомут, то берут его на время у дьякона, а сегодня, как на грех, дьякона дома нет.

Не разыскавшийся дьякон положил предел всем нашим веселым затеям, и мы, простившись с радушными хозяевами, еще заблаговременно оказались в Новоселках, откуда на другой же день уехали в Степановку».

Дом Л. Н-ча, несмотря на все претерпенные им пертурбации за 40 с лишком лет, до сих пор сохранил этот характер наивной простоты и отсутствия дорогого комфорта и роскоши.

Среди лета Л. Н-ч был приглашен на большую, роскошно составленную охоту к соседнему помещику Киреевскому. Не желая оставить свою молодую семью без присмотра, он на это время перевез ее к своей сестре Марье Николаевне. Так как у сестры в доме было тесно, то Софью Андреевну с детьми и прислугой поместили в бане, где они и прожили благополучно во время двухнедельного отсутствия Л. Н-ча.

От Киреевских Л. Н-ч писал С. А-не, что обстановка охоты была чрезвычайно роскошная, выезжали на несколько

дней целым домом, делали привалы в лесу с обедами, шампанским и т. д. Все охотники были в особой форме и составляли нечто вроде конных отрядов.

Вообще, писал он, его интересует не столько охота, сколько типы старого, отживающего и нового, нарождающегося барства.

Поздно осенью вся семья вернулась в Ясную Поляну. Вероятно, Л. Н-ч заезжал в Ясную в течение лета, так как мы находим в его записной книжке того времени следующую замечательную запись:

«1865 г. августа 18-го. Ясная Поляна. Всемирно-историческая задача России состоит в том, чтобы внести в мир идею общественного устройства поземельной собственности.

«La propriete – c'est vol» останется больше истиной, чем истина английской конституции, до тех пор пока будет существовать род людской. Эта истина абсолютная, но есть и вытекающие из нее истины относительные – приложения. Первая из этих относительных истин есть воззрение русского народа на собственность. Русский народ отрицает собственность самую прочную, самую независимую от труда, и собственность, более всякой другой, стесняющую право приобретения собственности другими людьми, собственность поземельную. Это не есть мечта – она факт, выразившийся в общинах крестьян, в общинах казаков. Эту истину понимает одинаково ученый русский и мужик, который говорит: пусть запишут нас в казаки, и земля будет вольная. Эта идея имеет

будущность. Русская революция только на ней может быть основана. Революция не будет против царя и деспотизма, а против поземельной собственности. Она скажет: с меня, с человека, бери и дери, что хочешь, а землю оставь всю нам. Самодержавие не мешает, а способствует этому порядку вещей.

Все это видел во сне 13-го августа».

Мы видим, таким образом, что великая идея уничтожения земельной собственности, распространяемая Л. Н-чем в настоящее время и вызвавшая его симпатии к проекту Джорджа, зародилась еще сорок лет тому назад. Сон есть, несомненно, отражение действительности. И если Л. Н-ч мог видеть или, вернее, думать во сне с такою ясностью, то это служит нам доказательством того, как напряженно занимала его эта мысль наяву. Затем попадаетея снова заметка о чтении:

«23-го сентября читал *Consuelo* (Жорж Санд). Что за превратная дичь с фразами науки, философии, искусства и морали – пирог с затхлым тестом и на гнилом масле с трюфелями, стерлядями и ананасами!»

В этом году он также читал Мольера.

1-го ноября 1865 года Л. Н-ч прекращает писать дневник и делает перерыв на 13 лет. Мы полагаем, что причиной тому отчасти семейно-хозяйственные заботы, отчасти его увлечение литературным творчеством, поглощавшим все его духовное существо.

Мы уже упомянули, что в это время одним из любимых

занятий Л. Н-ча была охота. Вот один из эпизодов охоты, записанный Т. А. Кузминской, частой спутницей Л. Н-ча в его охотничьих поездках:

«...Он был неутомим, и его увлечение на охоте было так сильно, что, помню, раз я заехала немного вперед его и чувствую, что седло подо мною ползет понемногу вбок, и, боясь упасть и запутаться в стремени, я остановила лошадь в ожидании Бибикова или Л. Н-ча; вдруг слышу топот и вижу: летит заяц, за ним все борзые, и мои две туда же присоединяются, за ними Л. Н-ч. Я кричу ему: «Левочка, падаю, седло свернулось». Он мне кричит на скаку: «Душенька, сейчас, подожди». Я, конечно, поняла его вполне, что он не остановился, и с нетерпением ожидала его, вися на боку. К счастью, лошадь Белогубка, на которой я всегда ездила, остановилась, как врытая в землю, и Л. Н-ч через несколько секунд вернулся, но без зайца. Заяц же ушел в кусты.

...В первые года я помню, как мы ходили с ним ловить щук. Выбирали узкие места в Воронке, он вставлял сеть на палке, а мы с сестрою, и кто еще бывал, болтали воду, и таким образом рыба шла в сеть, которую он держал, и этим он увлекался».

В тихой яснополянской жизни были особые, местные увеселения. Съезжались родные, соседи, и праздник Рождества проводили особенно весело.

Порой эти увеселения принимали буйный, неудержимый характер, особенно когда в них принимал участие Сергей

Николаевич Толстой, со своей страстной, веселой, артистической натурой.

Вот что пишет об одном из таких веселий гр. С. А. своей сестре в январе 1865 года:

«...Решили, что будет великолепный бал и маскарад в Крещенье, с пирогом с бобом, с ряжеными, и Сережа взялся сам одеть своих и привезти. Такая пошла суета, весь дом пошел вверх дном. Лева и я устраивали трон. На большом столе из столовой поставили два кресла с золотыми двуглавыми орлами, все – и стены, и столы, и ступеньки на столе – обтянули зеленым сукном, сверху сделали вроде крыши из белого одеяла с красными цветами, положили короны, ордена. Поставили цветы, лавровые и померанцевые деревья – просто великолепно! Это устроили в гостиной, перед стеклянной дверью, лишнюю мебель вынесли, сделали просторно. Варю одели пажом, в буклях, черная бархатная шапочка с малиновым пером и золотым околышком, белая куртка, малиновый жилет, белые панталоны и сапожки с малиновыми отворотами. Она была чудно как хороша! Лиза была одета, как одеваются в Алжире: на ней было столько напутано, что я уже и не припомню всего. Душку Лева одел старым отставным майором. Чудо как хорошо! Сережу – его женой. Работника – кормилицей; Ваську Белку, сына повара, спеленали и дали ему на руки. Потом устроили лошадь из двух людей, а на лошади Душка. Уже наши все были одеты; 7-ой час, а Сережи нет. Мы уже стали отчаиваться, как вдруг

колокольчики – и ввалился Сережа с огромной компанией, сундуком и разными штуками. Их повели в мою спальню, они там одевались; Лева одевал своих в кабинете, Машенька своих – у тетеньки в комнате. Я заботилась об освещении, угощении и, главное, о детях. Потом приехали музыканты, скрипка и бандура, вроде огромной, очень звучной, круглой гитары. Музыканты заиграли, двери отворили, вышли наши пары, впереди карлик, одетый чертом, потом пары Сережины. Гриша с медными тарелками, одетый арлекином, весь в бубенчиках, потом два мальчика Пьеро, два брата Бабуринские, потом его горничная и кучерова жена – барин с барыней, потом мальчик пастушкой. Все это с бубнами, шумом, хлопушками и тарелками, и сзади всех огромный почти до потолка великан, отлично сделанный. Под великаном был Келлер, который и заставлял его плясать. Эффект был такой, что и сказать тебе не могу. Пришло пропасть дворовых, Арина, одетая немцем, начали есть пирог. Боб попался Брандту, и он выбрал Вареньку, и их посадили на трон, а потом уж пошел такой хаос, что и описать нельзя. Песни, пляски, игры, драки пузырями, хлопушки, жгуты, хороводы, угощения и, наконец, бенгальский огонь, от которого у всех была головная боль и рвота. Я все больше сидела внизу, с детьми, меня, признаюсь, не радовала вся эта суета. Целые дни заботы об обедах, ужинах, постелях, угощении и проч. Только ужасно я радовалась за девочек, которые были наверху блаженства. Пропировали до третьего часу. На другой день все остались

у нас, мы ездили на двух тройках кататься и все перегоняли друг друга, тоже с большим азартом».

Вообще это время в середине 60-х годов было одно из безмятежных и веселых периодов семейной жизни Толстых. Супруги были соединены самой тесной привязанностью. Л. Н-ч в письмах к друзьям называл шутя это время «медовым месяцем», играл на гитаре и пел нежные песни: «Скажите ей, что пламенной любовью». После рождения второго ребенка, Тани (в сентябре 1864 г.), когда С. А. оправилась от болезни, в ней, по ее собственным словам явилась потребность интеллигентной, эстетической жизни. Она отдалась изучению английского языка. Много читала, увлекалась стихами Фета, рисованием. Л. Н-ч нашел в ней способность к рисованию и хотел взять учителя, но это не удалось, и художественный талант С. А. так и остался без развития. Но среди всего этого веселья, идиллии и эстетики у С. А. проявлялись минуты грусти. Так, рассказывала она, что среди бурного веселья, вызванного маскарадом, ей стало грустно, веселье это показалось диким, непривычным для ее воспитанной в скромной городской обстановке души. Она ушла от этого веселья вниз к детям и отпустила наверх свою няню.

Зимой, в январе 1866 г. со всей семьей Л. Н-ч отправился в Москву, где они и прожили около шести недель на Б. Дмитровке. В это время Л. Н-ч печатал в «Русском вестнике» 2-ую часть «1805 года». Он читал ее в корректуре своим приятелям: Перфильеву, Оболенскому, Аксакову и др. В эту же

зиму Л. Н-ч стал заниматься скульптурой и посещал рисовальную школу, но это увлечение продолжалось недолго, 7-го марта Толстые снова вернулись в Ясную Поляну, прожив в Москве шесть недель.

Там Л. Н-ч продолжал заниматься скульптурой и лепил бюст своей жены. Вероятно, он не кончил этой работы, так как она в Ясной Поляне не сохранилась.

Из Москвы Л. Н-ч писал своей тетке Татьяне Александровне:

«Мы вчера переехали на квартиру, где намерены прожить до 23-го. До сих пор наш переезд и наше пребывание в Москве совершенно удачны и приятны. Мы и дети здоровы, наши родные тоже. Квартиру мы нашли на Дмитровке, в доме Хлудова, бельэтаж в 6 комнат, прекрасно меблированных, с дровами, самоваром, водой, всей посудой, серебром и бельем столовым, за 155 руб. в месяц, наняли повара за 10 р. в месяц, так что мы проживем это время как дома, со всеми удобствами.

Мы от вас не получили еще ни одного письма. Напишите нам, пожалуйста. Мы разберем, как бы вы ни написали. Соня вам, верно, напишет в этом письме и отпишет все о Сереженьке, что вас, мы знаем, больше всего интересует. Он дня три тому назад было закашлялся, и надо было видеть испуг дедушки и бабушки. Они не меньше нас любят наших детей. Для больной Тани призывали специалиста доктора, и он утешил нас, уверяя, что у ней нет еще грудной болезни.

Но он сказал, что ее надо беречь. Она было очень ослабела от лихорадки, которая у нее продолжалась и здесь, но теперь уже третий день, как ее нет».

22 мая 1866 г. родился сын Илья. Увеличение семейства заставляет их взять, кроме няни, к старшим детям бонну и англичанку, и это незначительное обстоятельство как-то сразу меняет весь домашний режим.

Л. Н-ч в это время усердно занимался хозяйством, выписывал породистых производителей, улучшая породу скота, свиней, птиц.

Товарищем и советчиком его в этом деле был его друг и сосед Дм. Алекс. Дьяков. Л. Н-ч очень любил его и считал хорошим хозяином. Дьяков часто приезжал в Ясную и всегда оживлял всех своими рассказами. У него было много юмора, он был добродушен, весел и приятен. В 1866 г. Л. Н-ч, между прочим, занимался посадкой березовой рощи, представляющей теперь прекрасный березовый лес.

В ноябре Л. Н-ч ездил в Москву и работал там в Румянцевском музее, разбирая масонские рукописи.

С. А. скучает одна в Ясной, как это видно из ее писем, но радуется на детей и поглощена заботами о них.

В это время в 1866 году осенью была уже открыта Московско-Курская жел. дорога, и сношения с Москвой стали легче и потому чаще.

В марте 1867 года в ночь с 14-го на 15-ое в Ясной Поляне произошел пожар, уничтоживший старинную оранжерею,

находившуюся в саду Л. Н-ча. Вот как записывает об этом в своем дневнике Софья Андреевна:

«...Вчера ночью, часов в 10, загорелись наши оранжереи и сгорели все дотла. Я уже спала, Лева разбудил меня, в окно я увидела яркое пламя. Левочка вытащил детей садовника и их имущество; я бегала на деревню за мужиками. Ничего не помогло, все эти растения, заведенные еще дедом и которые росли и радовали три поколения, – все сгорело».

Первые годы семейной жизни Толстых, при всем их благополучии и взаимном счастье, были омрачены нравственными страданиями двух близких им людей – гр. Сергея Николаевича Толстого, старшего брата Л. Н-ча, и Татьяны Андреевны Берс, младшей сестры гр. С. А. Толстой. И он, и она, тесно привязанные к новой семье Л. Н-ча, не замедлили сблизиться в их доме, и между ними зародилось сильное чувство любви. Трагизм этого чувства заключался, с одной стороны, в том, что между ними было более 20 лет разницы. Для 17-летней девушки это было первое сильное чувство, а для почти 40-летнего Серг. Ник., уже сильно и страстно пожившего, это было последнее увлечение его пылкой натуры. С другой стороны, трагизм был в том, что Т. А. отдавалась своему чувству вполне свободно, а Сергей Никол, уже был давно женат, хотя и не венчан, имел детей и был привязан к своей семье. Но эта так называемая «незаконная связь» не признавалась светским крутом его знакомых, а родным Татьяны Андреевны казалось весьма естественно порвать с

этой «незаконной связью» и заключить новый, прочный и законный союз.

Но Сергей Ник. Толстой, человек с рыцарски-благородной душой, глубоко страдал от этого положения, долго колебался, и нравственное чувство заставило его остаться верным своей первой и потому самой законной семье.

Но увлечение его было сильно, и потому страдания от разрывания его существа на две части были очень велики. Новое чувство охватило его с необычайной силой. Когда гр. Толстая сообщила ему из письма своей сестры, что она его любит, он воскликнул: «Она нищему подарила миллион!»

Разумеется, и со стороны девушки были страдания от той нерешительности и колебаний, которые она замечала в предмете своей любви.

Года два тянулось это нерешительное и напряженное состояние. Но Серг. Ник. удержал за собою нравственную позицию, а Татьяна Андреевна, поддерживаемая всевозможной лаской и самой нежной любовью С. А. и Л. Н-ча Толстых, сумела стойко пережить и залечить эту первую рану и затем избрать себе, уже с более серьезным чувством, достойного спутника на всю жизнь.

Серг. Ник. Толстой для устройства гражданских прав своих детей решил повенчаться со своей женой, и, по странной игре судьбы, обе четы встретились летом 1867 года на перекрестке близ Тулы, когда они ехали в подгородные села назначать священникам дни их венчаний.

Все эти передряги семейной, родственной жизни вызвали целый ряд самых задушевных писем между участниками событий и особенно со стороны Л. Н-ча, который со своим обычным тактом и мудростью, не насилуя ничьей совести, сумел направить эти чувства в их нормальные русла. Интимный характер этой переписки не дает нам права на ее опубликование.

Но мирная устойчивая яснополянская жизнь не могла быть нарушена этими прошедшими над ее горизонтом грозными тучами, и она шла все тем же порядком.

В июне 1867 года Л. Н. писал своему другу Фету интересное письмо:

«Ежели бы я вам писал, милый Афанасий Афанасьевич, всякий раз, как я о вас думаю, то вы бы получали от меня по два письма в день. А всего не выскажешь и, кроме того, то лень, то слишком занят, как теперь. На днях я приехал из Москвы и предпринял строгое лечение под руководством Захарьина, и, главное, печатаю роман в типографии Риса и готовлю и посылаю рукопись и корректуры, и должен делать так день за днем под страхом штрафа и несвоевременного выхода. Это и приятно, и тяжело, как вы знаете. О «Дыме» я вам хотел писать давно и, разумеется, то самое, что вы мне пишете. От этого-то мы и любим друг друга, что одинаково думаем умом сердца, как вы называете. (Еще за это письмо спасибо вам большое: ум ума и ум сердца, – это многое мне объяснило). Я про «Дым» думаю то, что сила поэзии лежит

в любви; направление этой силы зависит от характера. Без силы любви нет поэзии, ложно направленная сила, неприятный слабый характер поэта претит. В «Дыме» нет ни к чему почти любви и нет почти поэзии. Есть любовь только к прелюбодеянию легкому и игривому, и потому поэзия этой повести противна. Я боюсь только высказывать это мнение, потому что я не могу трезво смотреть на автора, личность которого не люблю, но, кажется, мое впечатление общее всем. Еще один кончил. Желаю и надеюсь, что никогда не придет мой черед. И о вас то же думаю. Я от вас все жду, как от двадцатилетнего поэта, и не верю, чтобы вы кончили. Я свежее и сильнее вас не знаю человека. Поток ваш все течет, давая то же известное количество ведер воды – силы. Колесо, на которое он падал, сломалось, расстроилось, принято прочь, но поток все течет, и ежели он ушел в землю, он где-нибудь опять выйдет и завертит другие колеса. Ради бога, не думайте, чтобы я вам говорил потому, что долг платежом красен, и что вы мне всегда говорите подбадривающие вещи, нет, я всегда и об одном вас так думаю».

Последующие годы протекают без особо выдающихся событий.

Зиму 1868 г. (январь-февраль) Л. Н-ч проводит со всей семьей в Москве на Кисловке.

В этом году его посещает и гостит у него Скайлер, американский консул, о котором мы уже упоминали и о котором будем еще упоминать при изложении педагогического пери-

ода.

В 1869 г., 20-го мая, рождается третий сын, Лев. В этом 69 году, 30-го августа, Л. Н-ч писал Фету:

«Получил ваше письмо и отвечаю не столько на него, сколько на свои мысли о вас. Уж верно я не менее вашего тужу о том, что мы так мало видимся. Я сделал планы приехать к вам и делаю еще. Но до сих пор вот не готов шестой том, который я думал кончить месяц тому назад, – до сих пор, хотя весь давно набран, – не кончен.

Знаете ли, что было для меня нынешнее лето? – Не переставший восторг пред Шопенгауэром и ряд духовных наслаждений, которых я никогда не испытывал. Я выписал все его сочинения и читал и читаю (прочел и Канта). И верю, ни один студент в свой курс не учился так много и столь много не узнал, как я в нынешнее лето. Не знаю, перемену ли я когда мнение, но теперь я уверен, что Шопенгауэр – гениальнейший из людей. Вы говорили, что он так себе кое-что писал о философских предметах. Как кое-что? Это весь мир в невероятно ясном и красивом отражении. Я начал переводить его... Не возьметесь ли и вы за перевод его? Мы бы издали вместе. Читая его, мне непостижимо, каким образом может оставаться имя его неизвестным. Объяснение только одно, то самое, которое он так часто повторяет, что кроме идиотов, на свете почти никого нет. Жду вас с нетерпением к себе. Иногда душит неудовлетворенная потребность в родственной натуре, как ваша, чтобы высказать все накопивше-

еся.

Уже написав это письмо, решил окончательно свою поездку в Пензенскую губернию для осмотра имения, которое я намерен купить в тамошней глуши. Я еду завтра, 31-го, и вернусь около 13-го. Вас же жду к себе и прошу вместе с женой к ее именинам, т. е. приехать 15-го и пробыть у нас, по крайней мере, дня три».

В эту поездку для осмотра пензенского имения, наивно описанную в воспоминаниях его слуги С. П. Арбузова, со Л. Н-чем произошел следующий эпизод, описанный им самим в письме к графине С. А.:

«Что с тобой и детьми? Не случилось ли что? Я второй день мучаюсь беспокойством. Третьего дня в ночь я ночевал в Арзамасе, и со мной было что-то необыкновенное. Было два часа ночи, я устал страшно, хотелось спать и ничего не болело. Но вдруг на меня напала тоска, страх, ужас, такие, каких я никогда не испытывал. Подробности этого чувства я тебе расскажу впоследствии, но подобного мучительного чувства я никогда не испытывал и никому не дай бог испытать. Я вскочил, велел закладывать. Пока закладывали, я заснул и проснулся здоровым. Вчера это чувство в гораздо меньшей степени возвратилось во время езды, но я был приготовлен и не поддавался ему, тем более, что оно и было слабее. Нынче чувствую себя здоровым и веселым, насколько могу быть без семьи. В эту поездку я в первый раз почувствовал, до какой степени сросся с тобой и с детьми. Я

могу оставаться один в постоянных занятиях, как я бываю в Москве, но как теперь, без дела, я решительно чувствую, что не могу быть один».

Глава 5. Казнь рядового Шибунина

Летом 1866 г. произошло событие, в котором Л. Н-чу пришлось принимать участие и на котором следует подольше остановиться. Это событие была казнь солдата пехотного полка, расположенного близ Ясной Поляны. Конечно, Л. Н-ч участвовал в этом деле как защитник подсудимого. Вот краткая характеристика этого несчастного, по описанию одного из свидетелей совершенного злодеяния.

Ротным писарем во 2-й роте числился только что переведенный туда, находившийся в разряде штрафованных, рядовой Василий Шибунин, поступивший в военную службу «охотником», т. е. нанявшийся за другого рекрута. Ему было 24 года. Роста он был небольшого, коренастый, с толстой красной шеей и несколько рыжеватыми волосами, – вообще, фигура его не производила особенно приятного впечатления. Незаконнорожденный сын, по слухам, какого-то довольно значительного барина, Шибунин начал помнить себя в деревне в одной из центральных губерний, куда он был отдан двухлетним ребенком на воспитание. В ноябре 1862 года он появился в Н-ском рекрутском присутствии в качестве «охотника». Если выдавалась свободная минута, любимым времяпрепровождением Шибунина было лечь в постель и, потягивая из горлышка деревенскую сивуху, помечтать об «отце», на ночь почитать тревник или евангелие, которые

он давно знал наизусть. Ротный командир, академист, поляк, за какую-то неисправность по службе и за пьянство посадил Шибунина в карцер. По выходе оттуда Шибунин получил приказание ротного командира составить очень нужную бумагу для командира батальона. Для храбрости он выпил еще изрядное количество водки, и когда пришедший за рапортом ротный командир спросил его: «Ты приготовил рапорт батальонному командиру?» Шибунин, не отвечая, бледный, трясущимися руками подал требуемую начисто переписанную бумагу. Ротный командир посмотрел на него, но, очевидно, не заметив ничего особенного, принялся читать приготовленный рапорт. Шибунин воспользовался этой минутой и, выскользнув из избы, в сенях прямо из горлышка влил в себя еще новую бутылку водки и вернулся в канцелярию. Рапорт не понравился ротному командиру, он его смял и швырнул в писаря. Возбужденный вином, озлобленный, Шибунин наговорил своему начальнику дерзостей, на что тот, обращаясь к фельдфебелю, сказал:

– Фельдфебель, он опять пьян... Отправь его сейчас в карцер, а после ученья приготовь розог.

И командир, спокойно надевая на ходу свою белую замшевую перчатку, круто повернулся и вышел из избы. Его догнал Шибунин и с искаженным тобою лицом проговорил:

– За что, за что вы меня мучаете?

Командир, конечно, не удостоил его ответом.

– Молчите! – хрипло крикнул ему Шибунин. – Меня роз-

гами? Так вот же тебе, поляцкая харя!.. – И звонкая пощечина громко раздалась по улице.

Капитан Н. подал в этот же день два рапорта: один о преступлении Шибунина, другой о своей болезни, а командир полка донес по начальству, и через пять дней было получено предписание командующего войсками Московского военного округа генерал-адъютанта Гильденштубе; на основании 604 ст. военно-полевых законов предать Шибунина военно-полевому суду. Один из офицеров, некто Стасюлевич, принял к сердцу интересы обвиняемого и немедленно отправился вместе с подпоручиком Колокольцевым в Ясную Поляну ко Льву Николаевичу Толстому.

Рассказав Льву Николаевичу всю суть этого происшествия, оба молодых офицера обратились к нему с просьбою принять на себя защиту несчастного Шибунина.

Л. Н-ч выслушал их очень внимательно и с полной готовностью изъявил свое согласие принять все зависящие от человека меры если не к оправданию, то хотя бы к некоторому облегчению участи подсудимого.

Военно-полевой суд, как известно, не ожидает сроков, и дело ведется быстро, а потому, когда на другой день граф поехал к командиру полка, обвинительный акт Шибунина был уже готов, но еще не вручен обвиняемому. Нечего и говорить, что полковник Юноша с величайшим удовольствием изъявил свое согласие на предложение графа принять на себя защиту Шибунина.

Л. Н-ч Толстой отлично сознавал отчаянное положение дела Шибунина как солдата, но он верил в возможность его защиты как человека, и если не оправдания, то значительного смягчения наказания. Заседание суда было назначено в 11 часов утра, но Л. Н-ч прибыл туда целым часом раньше. Час этот был нужен ему. Он желал ободрить и подкрепить дух подсудимого. Небольшой зал маленького помещичьего дома квартиры полкового командира наскоро превратили в зал судебных заседаний, и вот здесь-то было назначено разбирательство дела Шибунина. Председателем военно-полевого суда был назначен командир полка, полковник Юноша, а прочие судьи были местные полковые офицеры. Прокурор прибыл из Москвы. Немногие из окружающих помещиков знали о дне заседания полевого суда, об участии в процессе в качестве защитника подсудимого гр. Л. Н. Толстого, да и время было жаркое для земледельца – разгар рабочей поры, но кто знал, воспользовался случаем и приехал в суд. Было несколько приехавших из Тулы, но, в общем, «публики» было немного. Председатель объявил о предстоящем разборе дела и приказал ввести подсудимого. Прочитали определение о предании Шибунина военно-полевному суду, заменявшее собою обычный обвинительный акт, удостоверявшее, что подсудимый, питая злобу к ротному командиру, давно задумал свое намерение и осуществил только в тот злополучный день 6-го июня, для чего умышленно натошак выпил полтора штофа водки.

Судебное следствие скоро окончилось. Слово было предоставлено представителю обвинения. Прокурор сказал сухую, совершенно формальную речь, всю пересыпанную статьями закона, ссылкой на них и пр.

Прошло несколько мгновений общего напряженного внимания, и граф Л. Н-ч поднялся.

Речь его, уверенная, спокойная, ясная, сразу настолько овладела общим вниманием, что задние ряды привстали и придвинулись к передним.

Л. Н-ч сказал следующее:

«Рядовой Василий Шибунин, обвиняемый в умышленном и сознательном нанесении удара в лицо своему ротному командиру, избрал меня своим защитником, и я принял на себя эту обязанность, несмотря на то, что преступление, в котором обвиняется Шибунин, есть одно из тех, которые, нарушая связь военной дисциплины, не могут быть рассматриваемы с точки зрения соразмерности вины с наказанием и всегда должны быть наказываемы. Я принял на себя эту обязанность, несмотря на то, что сам обвиняемый написал свое сознание, и потому факт, устанавливающий его виновность, не может быть опровергнут, и несмотря на то, что он подвергается 604 ст. воен. угол. закон., которая определяет только одно наказание за преступление, совершенное Шибуниным.

Наказание это – смерть, и потому казалось бы, что участь его не может быть облегчена. Но я принял на себя его защиту, потому что наш закон, написанный в духе предпочтитель-

ного помилования десяти виновных пред наказанием одного невинного, предусматривает все в пользу милосердия, и не для одной формальности определяет, что ни один подсудимый не входит в суд без защитника, следовательно, без возможности ежели не оправдания, то смягчения наказания. В этой уверенности на формальность я приступаю к своей защите.

По моему убеждению, обвиняемый подлежит действию ст. 109 и 116, определяющих уменьшение наказания по доказанности тупости и глупости преступника и неменяемости по доказанному умопомешательству.

Шибунин не подвержен постоянному безумию, очевидно-му при докторском освидетельствовании, но душевное состояние его находится в ненормальном положении: он душевнобольной, лишенный одной из главных способностей человека, способности соображать последствия своих поступков. Ежели наука о душевных болезнях не признала этого душевного состояния болезнью, то я полагаю, прежде чем произносить смертный приговор, мы обязаны взглянуть пристальнее на это явление и убедиться, есть ли то, что я говорю, пустая отговорка или действительный, несомненный факт. Состояние обвиняемого есть, с одной стороны, крайняя глупость, простота и тупость, предвиденная в ст. 109 и служащая к уменьшению наказания. С другой стороны, в известные минуты, под влиянием вина, возбуждающего к деятельности, – состояние умопомешательства, предвиденное

116 ст. Вот он стоит перед вами с опущенными зрачками глаз, с равнодушным, спокойным и тупым лицом, ожидая приговора смерти, ни одна черта не дрогнет на его лице ни во время допросов, ни во время моей защиты, как не дрогнет он и во время объявления смертного приговора и даже в минуту исполнения казни. Лицо его неподвижно не вследствие усилия над собою, но вследствие полного отсутствия духовной жизни в этом несчастном человеке. Он душевно спит теперь, как он и спал всю свою жизнь, он не понимает значения совершенного им преступления, так же как и последствий, ожидающих его.

Шибунин – мещанин, сын богатых, по его состоянию, родителей; он был отдан учиться сначала, как он говорит, к немцу, потом в рисовальное училище. Выучился ли он чему-нибудь, нам неизвестно, но надо предполагать, что учился он плохо, потому что ученье его не помогло ему дать средства откупиться от военной службы. В 1855 г. он поступил на службу и вскоре, как видно из послужного списка, бежит, сам не зная куда и для чего, и вскоре так же бессознательно возвращается из бегов. Через несколько лет Шибунин производится в унтер-офицеры, как надо предполагать, единственно за свое умение писать, и в продолжение всей своей службы занимается только по канцеляриям. Вскоре после своего производства в унтер-офицеры Шибунин вдруг без всякой причины теряет все выгоды своего положения на службе вследствие своего ничем не объясненного поступка:

он тайно уносит у своего товарища не деньги, не какую-либо ценную вещь, даже не такую вещь, которая может быть скрыта, но казенный мундир и тесак и пропивает их. Не полагаю, чтобы эти поступки, о которых мы узнаем из послужного списка Шибунина, могли служить признаками нормального душевного состояния подсудимого. Подсудимый не имеет никаких вкусов и пристрастий, ничто не интересует его. Как только он имеет деньги и время, он пьет вино, и не в комнате товарищей, а один, как мы видим это из самого обвинительного акта. Он делает привычку к пьянству со второго года своей службы и пьет так, что, выпивая по два штофа водки в день, не делается оживленнее и веселее обыкновенного, а остается таким же, каким вы его теперь видите, только с потребностью большей решительности и предприимчивости и еще с меньшей способностью сообразительности. Два месяца тому назад Шибунин переводится в Московский полк и определен писарем во вторую роту. Болезненное душевное состояние его с каждым днем ухудшается и доводит его до теперешнего состояния. Он доходит до совершенного идиотизма, он носит на себе только облик человека, не имея никаких свойств и интересов человечества; целые дни в 30-градусные жары эта физически здоровая сангвиническая натура сидит безвыходно в душной избе и пишет безостановочно целые дни какие-нибудь один-два рапорта и вновь переписывает их. Все интересы Шибунина сосредоточиваются на словах рапортов и на требованиях ротных командиров. Бес-

смысленно для него тянущиеся целые дни не дают ему иногда времени пообедать и выспаться, работа не тяготит его, но только приводит в большее и большее состояние отупения. Но он доволен своим положением и говорит своим товарищам, что ему значительно легче и лучше служить здесь, чем в Лейб-Екатеринославском гренадерском полку, из которого он переведен. Он тоже не имеет причины жаловаться на своего ротного командира, который говорил ему не раз (так передал мне сам Шибунин): «коли не успеваешь, так возьми еще одного, двух писарей». Дни его проходят в канцелярии или в сенях у ротного командира, где он подолгу дожидается, или в одиноком пьянстве. Он пишет и пьет, и душевное состояние его доходит до крайнего расстройтва. В это-то время в его отуманенной голове возникает одинокая мысль, относящаяся до той узкой сферы деятельности, в которой он вращается, и получает силу и упорство пункта помешательства. Ему вдруг приходит мысль, что ротный командир ничего не понимает в делах, в искусстве написать рапорт, которым гордится каждый писарь, что он знает лучше, как написать, что он пишет хорошо, отлично напишет, а ротный командир, не зная дела, заставляет переправлять и переписывать и, портя само дело, прибавляет ему работы, не дающей иногда времени и заснуть, и пообедать. И эта одинокая мысль, запавшая в расстроенную вином, отупевшую голову, под влиянием раздражения, оскорбленного самолюбия, беспрестанных повторений тех же требований со стороны рот-

ного командира и постоянного сближения с ним, — эта мысль и вытекающее из нее озлобление получает в больной душе подсудимого силу страстного пункта помешательства.

Спросите у него, почему и для чего он сделал свой поступок. Он скажет вам (и это единственный пункт, о котором он, приговаривающийся к смерти человек, говорит с одушевлением и жаром), он скажет вам, как написал в своем показании, что побудительными причинами к его поступку были частые требования ротного командира переделывать бумаги, в которых будто бы он, ротный командир, менее понимал толку, чем сам Шибунин, или скажет, как он сказал мне на вопрос, почему он совершил свое преступление, — он скажет: «по здравому рассудку я решил, потому что они делов не знают, а требуют, мне и обидно показалось».

«Итак, мм. гг.! единственная причина совершенного преступления, наказываемого смертью, была та, что подсудимому казалось обидно и оскорбительно переделывать писанные им бумаги по приказаниям начальства, понимавшего в делах менее, чем он. Ни следствие, ни суд, ни наивное показание Ш. не могли открыть других побудительных причин. А потому возможно ли предположить, чтобы человек, находящийся в обладании своих душевных способностей, из-за того, что ему обидно показалось переписывать рапорты, решился на тот страшный поступок как по существу своему, так и по последствиям. Такой поступок и вследствие таких причин мог совершать человек, только одержимый душев-

ной болезнью, и таков обвиняемый. Ежели медицинское свидетельство не признает его таковым, то только потому, что медицина не определила этого состояния отупения в соединении с раздражением, производимым вином. Разве в здоровом уме находится человек, который, перед судом, ожидая смертного приговора, с увлечением говорит только о том, что его писарское самолюбие оскорблено ротным командиром, что он не знает, а велит переписывать? Разве в здоровом уме находится тот человек, который, зная грамоту и зная закон, пишет на себя то сознание от 6 и 7 числа, которое мы сейчас слышали, – сознание, в котором как бы умышленно он безвыходно отдается смерти? Сознание это, очевидно, бессмысленно списано его рукой с тех слов, которые за него говорили следователи и которые он подтверждал словами: «точно так, ваше благородие», которыми он и теперь готов бессмысленно и бессознательно подтвердить все то, что ему будет предложено. Во всей Российской империи не найдется, верно, ни одного не только писаря, но безграмотного мужика, который бы на другой день преступления дал такое показание.

И что могло побудить грамотного человека дать это показание? Ежели бы он был не идиот, он бы понимал, что сознание его не может уменьшить его наказания. Раскаяние тоже не могло вызвать это сознание, так как преступление его такого рода, что оно не могло произвести в нем тяжелых мучений совести и потребности облегчения чистосер-

дечным признанием. Подобное сознание мог сделать только человек, вполне лишенный способности соображения последствий своих поступков, т. е. душевнобольной. Сознание Ш. служит лучшим доказательством болезненности его душевного состояния. Наконец, разве в здравом уме тот человек, который совершает свое преступление при тех условиях, при которых совершил его Ш.? Он писарь, он знает закон, казнящий смертью за поднятие руки против начальства, тем более должен бы знать этот закон, что за несколько дней перед совершением преступления он собственноручно переписывает приказ по корпусу о расстрелянии рядового за поднятие руки против офицера, и, несмотря на то, он в присутствии фельдфебеля, солдат и посторонних лиц совершает свое преступление. В поступке подсудимого не видно ни только умышленности, ни только сознательности, но очевидно, что поступок совершен при отсутствии душевных способностей, в припадке бешенства или безумия. Постоянно занятый одним делом переписки и связанной с ним мыслью о сильной обиде и незнании порядков ротным командиром, он после бессонной ночи и выпитого вина сидит один в канцелярии над бумагами и дремлет с тою же неотступною мыслью, равняющейся пункту помешательства, об оскорбительной требовательности и незнании дела ротным командиром, как вдруг входит сам ротный командир, лицо, с которым связан ближе всего его пункт помешательства, лицо, против которого направлено его озлобление, усиленное в одиночестве

выпитым вином, и лицо это делает ему вновь упреки и подвергает его наказанию. Шибунин встает, еще не очнувшись от дремоты, не зная, где он и что он, и совершает поступок, в котором он отдает себе отчет уже гораздо позже его совершения.

Прошедшее Шибунина, его вид и разговор доказывают в нем высшую степень тупоумия, еще усиленного постоянным употреблением вина; показание же его, как бы умышленно увеличивающее его вину, а главное, самое преступление, совершенное при свидетелях и в сопровождении бессмысленности, доказывает, что в последнее время к общему состоянию идиотизма присоединилось еще состояние душевного расстройства, которое, ежели не подлежит докторскому освидетельствованию как безумие, тем не менее не может не быть принято как обстоятельство, значительно уменьшающее виновность.

По ст. 109 Шибунин подлежит уменьшению наказания вследствие своего очевидного идиотизма.

Сверх того, по исключительному состоянию душевного расстройства, хотя в строгом смысле и не подходящего под статью 126, Шибунин по общему смыслу этой статьи подлежит облегчению наказания. Но ст. 604 определяет за преступление, совершенное Шибуниным, только одно наказание – смерть. Итак, суд поставлен в необходимость либо, безусловно применив к настоящему случаю ст. 604, тем самым отступить от смысла ст. 109 и 116, полагающих облегчение

наказания при нахождении преступника в тех ненормальных душевных условиях, в которых находится Шибунин, либо, применив ст. 109 и 116, уменьшающие наказания, тем самым изменить смысл ст. 604. Последний выход из этого затруднения я полагаю более справедливым и законным на том основании, что уменьшение наказания в случаях, определенных ст. 109, относится ко всем последующим статьям и потому и к ст. 604, об исключении которой ничего не сказало.

Суд в настоящем случае противоречия между статьями 109, уменьшающей наказание, и 604, полагающей только одно наказание, имеет только два выбора – отступить от буквы ст. 109 или от буквы ст. 604.

Для решения в этом выборе суд может руководствоваться только духом всего нашего законодательства, заставляющим всегда весы правосудия склоняться на сторону милосердия, и смыслом ст. 81, которая говорит, что суд должен оказывать себя более милосердным, нежели жестоким, памятуя, что и судьи – человеки.

С этим высоким и строгим напоминанием закона подсудимый предоставляет свою участь решению правосудия».

Несмотря на всю силу этих аргументов, рядовой Шибунин был приговорен к смертной казни.

Окрестное население сел и деревень с быстротою телеграфа разнесло весть о приговоренном к расстрелу.

К узнику вскоре начали собираться целые толпы, слезно

умолявшие караульного унтера «хоть одним глазком взглянуть на несчастенького».

Но просьбы их были напрасны, и «несчастенького» не показывали им. Но они не огорчались этой неудачей и оставляли у караульного для Шибунина кто что мог, по силе своих средств и достатков. Кто горшок молока, кто яичек, кто ржаных сдобных лепешек. Были и такие, которые приносили большие куски домашнего деревенского холста. Казнь была совершена 9-го августа. Шибунин все время стоял с потупленными глазами, ни один мускул на лице его не дрогнул; он шел твердым шагом, не говоря ни одного слова. Собралась около столба, к которому был привязан Шибунин, масса народа. Женщины рыдали и падали в обморок.

По совершении казни народ неудержимою волной бросился к свежей могиле. Через час явился кем-то приглашенный деревенский священник, и началось почти непрерывное служение заказных панихид. К вечеру на могилу были накинаны восковые свечи, куски холста и медные гроши. На завтра история с панихидами повторилась. Даже из дальних деревень стал собираться на эти панихиды народ и нес свою лепту. Дошла весть и до местного станового пристава. Он приехал лично и приказал сравнять могилу казненного. Около опушки леса поставили деревенский караул с приказом «отнюдь не допускать любопытных», а служение панихид было «настрожайше» воспрещено.

Можно себе представить, что делалось в душе Л. Н-ча при

виде этого совершившегося перед его глазами зверства.

Он употребил свое влияние в высших сферах, чтобы остановить совершение приговора, телеграфировал своей тетке гр. А. А. Толстой, придворной даме, прося доложить военному министру. Она говорила с министром, но тот ответил каким-то формальным доводом и очевидно не расположен был к отмене приговора.

По словам Л. Н-ча, у него осталось впечатление, что высшее начальство хотело во что бы то ни стало привести в исполнение этот приговор как меру устрашения, так как в это время в войсках стали довольно часто повторяться случаи нарушения дисциплины.

Этим эпизодом, выделенным нами в виду его важности в особую главу, мы и заканчиваем описание первого периода семейной жизни Л. Н-ча.

У читателя, прочитавшего эту главу, знающего и понимающего Л. Н-ча Толстого, должно остаться чувство неудовлетворения от той бледной роли, которую пришлось играть в этом деле Льву Николаевичу. Такое чувство неудовлетворения испытал и я, когда описывал этот факт по имевшимся у меня документам. Зная отношение Л. Н-ча к такому ужасному явлению, как смертная казнь, я попросил его высказать его теперешнее отношение к своему участию в деле защиты казненного солдата. И Л. Н-ч, со всею присущею ему искренностью, восстановил в своей памяти это дело, вновь пережил все чувства, волновавшие его и волнующие его всегда

при мысли об этом злодеянии, и записал их в форме письма ко мне, которым я с радостью и пополняю рассказанное мною в этой главе:

«Милый друг Павел Иванович!

Очень рад исполнить ваше желание и сообщить вам более подробно то, что было передумано и пережито мною в связи с тем случаем моей защиты солдата, о котором вы пишете в своей книге. Случай этот имел на всю мою жизнь гораздо более влияния, чем все кажущиеся более важными события жизни: потеря или поправление состояния, успехи или неудачи в литературе, даже потеря близких людей.

Расскажу, как все это было, а потом уже постараюсь высказать те мысли и чувства, которые тогда вызвало во мне это событие и теперь воспоминание о нем.

Чем особенно я занимался и увлекался в это время, я не помню, — вы это лучше меня знаете; знаю только, что жил я в это время спокойной, самодовольной и вполне эгоистичной жизнью. Летом 1866 года нас посетил совершенно неожиданно Гриша Колокольцев, кадетом еще ходивший в дом Берсов и знакомый моей жены. Оказалось, что он служит в пехотном полку, расположенном в нашем соседстве. Это был веселый, добродушный мальчик, особенно занятый в это время своей верховой казачьей лошадкой, на которой он любил гарцевать и часто приезжал к нам.

Благодаря ему мы познакомились и с его полковым коман-

диром, полковником Ю., и с разжалованным или отданным в солдаты по политическим делам (не помню) А. М. Стасюлевичем, родным братом известного редактора, служившим в этом же полку. Стасюлевич был уже немолодой человек. Он только недавно из солдат был произведен в прапорщички и поступил в полк к бывшему своему товарищу Ю., теперь его главному начальнику. И тот, и другой, Ю. и Стасюлевич, тоже изредка езжали к нам. Ю. был толстый, румяный, добродушный, холостой еще человек. Он был один из тех, так часто встречающихся людей, в которых человеческого совсем не видно из-за тех условных положений, в которых они находятся и сохранение которых они ставят высшей целью своей жизни. Для полковника Ю. условное положение это было положение полкового командира. Про таких людей, судя по-человечески, нельзя сказать, добрый ли, разумный ли он человек, так как неизвестно еще, каким бы он был, если бы перестал быть полковником, профессором, министром, судьей, журналистом, а стал бы человеком. Так это было и с полковником Ю. Он был исполнительный полковой командир, приличный посетитель: но каким он был человеком, нельзя было знать. Я думаю, не знал и он сам, да и не интересовался этим. Стасюлевич же был живой человек, хотя и изуродованный с разных сторон, более же всего теми несчастьями и унижениями, которые он, как честолюбивый и самолюбивый человек, тяжело переживал. Так мне казалось, но я недостаточно знал его, чтобы поглубже вникнуть

в его душевное состояние. Одно знаю, что общение с ним было приятно и вызывало смешанное чувство сострадания и уважения. Стасюлевича я потом потерял из виду, но недолго после этого, когда полк их стоял уже в другом месте, я узнал, что он без всяких, как говорили, личных причин лишил себя жизни и сделал это самым странным образом. Он рано утром надел в рукава ваточную тяжелую шинель и в этой шинели вошел в реку и утонул, когда дошел до глубокого места, так как не умел плавать.

Не помню, кто из двух, Колокольцев или Стасюлевич, в один день летом, приехав к нам, рассказал про случившееся у них – для военных людей самое ужасное и необыкновенное – событие: солдат ударил по лицу ротного командира, капитана, академика. Стасюлевич особенно горячо, с чувством к участи солдата, которого ожидала, по словам Стасюлевича, смертная казнь, рассказывал про это и предложил мне быть защитником на военном суде этого солдата.

Должен сказать, что приговоры одними людьми других к смерти и еще других к совершению этого поступка – смертная казнь – всегда не только возмущала меня, но представлялась мне чем-то невозможным, выдуманном, одним из тех поступков, в совершение которых отказываешься верить, несмотря на то, что знаешь, что поступки эти совершались и совершаются людьми. Смертная казнь как была, так и осталась для меня одним из тех людских поступков, сведения о совершении которых в действительности не нарушают во

мне сознания невозможности их совершения.

Я понимаю, что под влиянием минуты раздражения, злобы, мести, потери сознания своей человечности человек может убить, защищая близкого человека, даже себя; может под влиянием патриотического, стадного внушения, подвергая себя смерти, участвовать в совокупном убийстве на войне. Но то, чтобы люди спокойно, в должном обладании своих человеческих свойств могли обдуманно признавать необходимость убийства такого же, как они, человека и могли бы заставлять совершать это противное человеческой природе дело других людей, – этого я никогда не понимал. Не понимал и тогда, когда в 1866 году жил своей ограниченной, эгоистической жизнью, и потому как это ни было странно, с надеждой на успех взялся за это дело.

Помню, что, приехав в деревню Озерки, где содержался подсудимый (не помню хорошенько, было ли это в особом помещении или в том самом, в котором и совершился поступок), и войдя в кирпичную низкую избу, я был встречен маленьким скуластым, скорее толстым, чем худым, что очень редко в солдате, человеком с самым простым, не переменяющимся выражением лица. Не помню, с кем я был, кажется, что с Колокольцевым. Когда мы вошли, он встал по-солдатски. Я объяснил ему, что хочу быть его защитником, и просил рассказать, как было дело. Он от себя мало говорил и только на мои вопросы неохотно отвечал: «так точно». Смысл его ответов был тот, что ему очень скучно было и что

ротный был требователен к нему. «Уж очень на меня налегал», – сказал он.

Дело было так, как описано у вас, но то, что он тут же выпил, чтобы придать себе храбрости, едва ли справедливо.

Как я понял причину его поступка, она была в том, что ротный командир, человек всегда внешне спокойный, в продолжение нескольких месяцев своим тихим, ровным голосом, требующим беспрекословного повиновения и повторения тех работ, которые писарь считал правильно выполненными, довел его до последней степени раздражения. Сущность дела, как я понял его тогда, была в том, что, кроме служебных отношений, между этими людьми установились очень тяжелые отношения человека к человеку – отношения взаимной ненависти. Ротный командир, как это часто бывает, испытывал антипатию к подсудимому, усиленную еще догадкой о ненависти к себе этого человека за то, что офицер был поляк, ненавидел своего подчиненного и, пользуясь своим положением, находил удовольствие быть всегда недовольным всем, что бы ни сделал писарь, и заставлял его переделывать по нескольку раз то, что писарь считал безукоризненно хорошо сделанным. Писарь же, со своей стороны, ненавидел ротного и за то, что он поляк, и за то, что он оскорбляет его, не признавая за ним знания его писарского дела, и, главное, за его спокойствие и за неприступность его положения. И ненависть эта, не находя себе выхода, все больше и больше с каждым новым упреком разгоралась. И когда

она дошла до высокой степени, она разразилась самым для него же самого неожиданным образом. У вас сказано, что взрыв был вызван тем, что ротный командир сказал, что накажет его розгами. Это неверно. Ротный просто вернул ему бумагу и приказал, исправив, опять переписать.

Суд скоро состоялся. Председателем был Ю., двумя членами были Колокольников и Стасюлевич. Привели подсудимого. После, не помню, каких-то формальностей я прочел свою речь, которую мне не скажу – странно, но просто стыдно читать теперь. Судьи, с очевидно скрываемой только приличием скукой, слушали все те пошлости, которые я говорил, ссылаясь на такие-то статьи такого-то тома, и когда все было выслушано, ушли совещаться. На совещании, как я после узнал, один Стасюлевич стоял за применение той глупой статьи, которую я приводил, т. е. за оправдание подсудимого вследствие признания его невменяемым. Колокольников же, добрый, хороший мальчик, хотя и наверное желал сделать мне приятное, все-таки подчинился Ю., и его голос решил вопрос. И был прочтен приговор смертной казни через расстреляние. Тотчас же после суда я написал, как это у вас и написано, письмо близкой мне и близкой ко двору фрейлине Александре Андреевне Толстой, прося ее ходатайствовать перед государем – государем тогда был Александр II – о помиловании Шибунина. Я написал Толстой, но по рассеянности не написал имени полка, в котором происходило дело. Толстая обратилась к военному министру Милютину, но он

сказал, что нельзя просить государя, не указав, какого полка был подсудимый. Она написала это мне, я поторопился ответить, но полковое начальство тоже поторопилось, и когда не было уже препятствий для подачи прошения государю, казнь была уже совершена.

Все остальные подробности в вашей книге и христианское отношение народа к казненному совершенно верны.

Да, ужасно возмутительно мне было перечесть теперь эту напечатанную у вас мою жалкую, отвратительную защитительную речь. Говоря о самом явном преступлении всех законов божеских и человеческих, которое одни люди готовились совершить над своим братом, я ничего не нашел лучшего, как сослаться на такие-то, кем-то написанные, глупые слова, называемые законами.

Да, стыдно мне теперь читать эту жалкую, глупую защиту. Ведь, если только человек понимает то, что собираются делать люди, севшие в своих мундирах с трех сторон стола, воображая себя, что вследствие того, что они так сели и что на них мундиры, и что в разных книгах напечатаны и на разных листах бумаги с печатным заголовком написаны известные слова, что вследствие всего этого они могут нарушить вечный, общий закон, записанный не в книгах, а во всех сердцах человеческих, то ведь одно, что можно и должно сказать таким людям, это – то, чтобы умолять их вспомнить о том, кто они и что они хотят делать. А никак не доказывать разными хитростями, основанными на тех лживых и глупых словах,

называемых законами, что можно и не убивать этого человека. Ведь доказывать то, что жизнь каждого человека священна, что не может быть право одного человека лишать жизни другого, – это знают все люди и этого доказывать нельзя, потому что не нужно. А можно, и нужно, и должно только одно: постараться освободить людей-судей от того одурения, которое могло привести их к такому дикому, нечеловеческому намерению. Ведь доказывать это – все равно, что доказывать человеку, что ему не надо делать то, что противно, несвойственно его природе; не надо зимою ходить голому, не надо питаться содержимым помойной ямы, не надо ходить на четвереньках. То, что это несвойственно, противно природе человеческой, давно уже показано людям в рассказе о женщине, подлежащей побиению камнями.

Неужели с тех пор появились люди настолько праведные: полковник Ю. и Гриша Колокольцев со своей лошадкой, что уже им не страшно бросить первый камень?

Я не понимал этого тогда. Не понимал я этого и тогда, когда через Толстую ходатайствовал у государя о помиловании. Шибунина. Не могу не удивляться теперь на то заблуждение, в котором я был, о том что все, что совершилось над Шибуниным, было вполне нормально и что так же нормально было и участие, хотя и не прямое, в этом дело того человека, которого называли государем. *И я просил* этого человека помиловать другого человека, как будто такое помилование от смерти могло быть в чьей-нибудь власти. Если бы я был

свободен от всеобщей одури, то одно, что я мог сделать по отношению Александра II и Шибунина – это то, чтобы просить Александра II не о том, чтобы он помиловал Шибунина, а о том, чтобы он помиловал себя, ушел бы из того ужасного положения, в котором он находился, невольно участвуя во всех совершающихся преступлениях «по закону» уже тем, что, будучи в состоянии прекратить их, он не прекращал их.

Тогда я еще ничего не понимал этого. Я только смутно чувствовал, что совершилось что-то такое, чего не должно быть, не может быть, и что это дело – не случайное явление, а в глубокой связи со всеми другими заблуждениями и бедствиями человечества, и что оно-то и лежит в основе всех заблуждений и бедствий человечества.

Я смутно чувствовал еще тогда, что смертная казнь, сознательно рассчитанное, преднамеренное убийство, есть дело, прямо противоположное тому закону христианскому, который мы будто бы исповедуем, и дело, явно нарушающее возможность и разумной жизни, и какой бы то ни было нравственности, потому что ясно, что если один человек или собрание людей может решить, что необходимо убить одного или многих людей, то нет никакой причины, по какой другой человек или другие люди не найдут той же необходимости для убийства других людей. А какая же может быть разумная жизнь и нравственность среди людей, которые могут по своим решениям убивать друг друга?

Я смутно чувствовал тогда уже, что оправдание убийства

церковью и наукой, вместо достижения своей цели – оправдания насилия, напротив того, показывает лживость церкви и лживость науки. В первый раз я смутно почувствовал это в Париже, когда видел издалека смертную казнь; яснее, гораздо яснее почувствовал это теперь, когда принимал участие в этом деле; но мне все еще было страшно верить себе и разойтись с суждениями всего мира. Только гораздо позднее я был приведен к необходимости веры себе и к отрицанию тех двух страшных обманов, держащих людей нашего времени в своей власти и производящих все те бедствия, от которых страдает человечество: обман церковный и обман научный.

Только гораздо позднее, когда я стал внимательно исследовать те доводы, которыми церковь и наука стараются поддерживать и оправдывать существование государства, я увидел все явные и грубые обманы, которыми и церковь, и наука скрывают от людей злодеяния, совершаемые государством. Я увидел те рассуждения в катехизисах и научных книгах, распространяемых миллионами, в которых объясняется необходимость, законность убийства одних людей по воле других.

Так, в катехизисе, по случаю шестой заповеди: – не убий – люди с первых же строк научаются убивать.

Вопрос. Что запрещается в шестой заповеди?

Ответ. Убийство или отнятие жизни у ближнего каким бы то ни было образом.

В. Всякое ли отнятие жизни есть законопреступное убий-

ство?

О. Не есть незаконное убийство, когда отнимают жизнь *по должности*, как-то: 1) когда преступника наказывают по правосудию; 2) когда убивают неприятеля *на войне*, за государя и отечество.

В. Какие случаи относятся могут к законопреступному убийству?

О. Когда кто *укрывает или освобождает* убийцу.

В научных же сочинениях двух сортов – в сочинениях, называемых юриспруденцией, со своим уголовным правом, и в сочинениях, называемых чисто научными, доказывається то же самое еще с большею ограниченностью и смелостью. Об уголовном праве нечего и говорить: оно все есть ряд самых очевидных софизмов, имеющих целью оправдать всякое насилие человека над человеком и самое убийство. В научных же сочинениях, начиная с Дарвина, ставящего закон борьбы за существование в основу прогресса жизни, это самое подразумевается. Некоторые же *enfants terribles* этого учения, как знаменитый профессор Иенского университета Эрнест Геккель, в своем знаменитом сочинении «Естественная история миротворения», евангелие для неверующих, прямо высказывает это:

«Искусственный подбор оказывал весьма благотворное влияние на культурную жизнь человечества. Как велико в сложном ходе цивилизации, например, влияние хорошего школьного образования и воспитания! Как искусственный

подбор и смертная казнь оказывает такое же благодетельное влияние, хотя в настоящее время многими горячо защищается, как «либеральная мера», отмена смертной казни, и во имя ложной гуманности приводится ряд вздорных аргументов.

Однако на самом деле смертная казнь для громадного большинства неисправимых преступников и негодяев является не только справедливым возмездием для них, но и великим благодеянием для лучшей части человечества подобно тому, как для успешного разведения хорошо культивированного сада требуется истребить вредные сорные травы. И точно так же, как тщательное удаление зарослей принесет полевым растениям больше света, воздуха и места, неослабное истребление всех закоренелых преступников не только облегчит лучшей части человечества «борьбу за существование», но и произведет выгодный для него искусственный подбор, так как таким образом, будет отнята у этих выродившихся отбросов человечества возможность наследственно передать человечеству их дурные качества».

И люди читают это, учат, называя это наукой, и никому в голову не приходит сделать естественно представляющийся вопрос о том, что если убивать дурных полезно, то кто решит: кто вредный. Я, например, считаю, что хуже и вреднее г-на Геккеля я не знаю никого. Неужели мне и людям одних со мною убеждений приговорить г-на Геккеля к повешению? Напротив, чем грубее заблуждения г-на Геккеля, тем больше

я желал бы ему образумиться и ни в каком случае не желал бы его лишить этой возможности.

Вот эти-то лжи церкви и науки и довели нас теперь до того положения, в котором мы находимся. Уже не месяцы, а годы проходят, во время которых нет ни одного дня без казней и убийств, и одни люди радуются, когда убийств правительственных больше, чем убийств революционных, другие же люди радуются, когда больше убито генералов, помещиков, купцов, полицейских; с одной стороны раздаются награды за убийства по 10 и по 25 р., с другой стороны революционеры чествуют убийц, экспроприаторов и восхваляют их как великих подвижников.

Вольным палачам платят по 50 рублей за казнь. Я знаю случай, когда к председателю суда, в котором к казни было приговорено 5 человек, пришел человек с просьбой передать ему дело исполнения казней, так как он возьмет сделать это дешевле: по 15 рублей с человека. Не знаю, согласилось или не согласилось начальство на предложение.

Да, не бойтесь тех, кто губит тело, а тех, кто губит и тело, и душу...

Все это я понял гораздо позже, но смутно чувствовал и тогда, когда так глупо и постыдно защищал этого несчастного солдата. От этого-то я и сказал, что случай этот имея на меня очень сильное и важное для моей жизни влияние.

Да, случай этот имел на меня огромное, благодетельное влияние. На этом случае я в первый раз почувствовал, пер-

вое – то, что каждое насилие для своего исполнения предполагает убийство или угрозу его, и что поэтому всякое насилие неизбежно связано с убийством; второе – то, что государственное устройство, немислимое без убийств, несовместимо с христианством, и третье – что то, что у нас называется наукой, есть только такое же лживое оправдание существующего зла, каким было прежде церковное учение.

Теперь это для меня ясно, тогда же это было только смутное сознание той неправды, среди которой шла моя жизнь.

Лев Толстой

Ясная Поляна, 24 мая 1908 года.

Часть II. Второй педагогический период. Самарское имение. Голод

Глава 6. Второй педагогический период. Азбука

Осенью 1869 года Лев Николаевич закончил и сдал в печать 6-й том «Войны и мира» и почувствовал себя снова свободным для новой деятельности.

На этот раз он обратился снова к педагогике и со всей своей энергией отдался этому делу и снова создал «великое». Второй период его педагогической деятельности имел характер вывода и приложения тех данных, которые он добыл в первом периоде этой деятельности.

Занимаясь в начале 60-х годов народными школами, Л. Н-ч должен был прекратить эту деятельность по многим причинам. Во-первых, его оригинальная и свободолюбивая деятельность вызвала подозрение полиции и местных властей, и у него в Ясной Поляне и в других подведомственных ему школах были сделаны жандармами обыски. Это произвело такой разгром, от которого Лев Н-ч и близкие ему люди долго не могли опомниться. Во-вторых, переутомленный усиленной деятельностью, Л. Н-ч заболел и должен был уехать

лечиться, и, наконец, по возвращении из мест лечения он женился, и новые условия жизни не позволили ему отдавать столько времени школьным делам, и вся его организация распалась. Школы продолжали существовать, но великий дух, оживлявший их, отошел от них и направил свою деятельность на другую область.

Так продолжалось до конца 60-х годов. За это время Л. Н. Ч., занятый другими делами, хотя и не проявлял активного участия в школьном деле, тем не менее внимательно следил за всем, что делалось в области народного образования, и был далеко не удовлетворен всем происходившим. Это обстоятельство вызвало его к новой критической переоценке практиковавшихся методов преподавания, а также возбудило в нем желание дать свое руководство к преподаванию, основанное на его личных опытах.

Первым делом его было составление азбуки и хрестоматии, т. е. полного учебника русского языка для детей и народа. В его записной книжке 68-го года мы уже находим первые наброски плана азбуки в следующем виде:

ПЕРВАЯ КНИГА ДЛЯ ЧТЕНИЯ Азбука (для семьи и школы) С наставлением учителю *Графа Л. Н. Толстого*. 1863 г.

Затем в той же записной книжке набросан весь план азбуки первого издания, составленный по буквослагательному способу, с арифметикой, и даже приведен один рассказ, не вошедший ни в какое издание, а между тем представляющий

несомненный педагогический интерес по легкости слога и применимости его к детскому пониманию и указывающий также на характер литературно-педагогической работы Л. Н-ча того времени, почему мы его здесь и приводим целиком.

Когда ученик будет свободно соединять двухсложные слова, – пишет Л. Н-ч, – он может читать следующее:

«Был один мальчик, его звали Ваня. У него была мать, и отец, и маленькая сестра. Один раз Ваня вышел на двор и слышит, что в саду что-то пищит. Ваня пошел в сад посмотреть и видит – в канаве лежат три маленьких щенка. Два белых и один белый с черными пятнами. Белые щенки уже были мертвые, а пестрый еще был жив. Он пищал. Ваня взял этого щенка и понес домой. А у Вани был отец. Отец увидел щенка и говорит: «Зачем ты принес щенка?» А Ваня говорит отцу: «Позволь мне, пожалуйста, этого щенка держать в этом доме. Мне его жалко. Его братья умерли, и он умрет, если его бросить. Я его буду кормить». И отец сказал: «Ну, хорошо». Ваня стал щенка кормить и назвал его Буян. Щенок скоро вырос и стал большая собака, сильная и добрая.

Один раз все пошли спать, а Буян был на дворе. А воры пришли во двор и хотели украсть лошадей. Никто не видал воров, и они вошли в конюшню. Вдруг Буян залаял страшным голосом и бросился в конюшню. В доме все проснулись, воры испугались и убежали.

Отец позвал Ваню и говорит ему: «Я рад, что ты взял Буяна. Без него лошади бы наши пропали. Я теперь ему позво-

лю жить дома».

И Ваня был очень рад.

Потом пошли один раз все в лес и взяли с собой маленькую сестрицу Ванину и положили ее в лесу спать. Вдруг пришел волк и хотел схватить девочку из люльки. А Буян услышал, что идет волк, и спрятался за куст. Он не испугался, он хотел волка поймать. Волк думал, что его никто не видит. Вдруг Буян выскочил из куста и стал грызть волка. Все прибежали и избили волка. А волк укусил Буяна. Отец посмотрел и говорит: «Он укушен». И Ваня стал плакать. Отец позвал Ваню и говорит: «Я прежде любил Буяна за то, что он воров прогнал, а теперь еще больше люблю: волк бы заел нашу девочку, если бы Буян его не загрыз». И все стали Буяна ласкать. И Ваня очень был рад.

Потом пришла зима, и поехали все на санях в город. Вдруг пошел снег, сделался ветер и мороз, и они все заблудились и не знали, что им делать. Стало темно, и они искали дорогу и не могли отыскать. Отец говорит: «Мы все замерзнем. Надо богу молиться». Ваня стал плакать. А Буян пришел к Ване и стал ему руки лизать. «Буян, надо нам дорогу, а то мы пропадем». Буян замахал хвостом и побежал вперед по снегу. Они поехали за ним и ехали-ехали, и Буян нашел дорогу и прямо привел их в город. И отец позвал Ваню и говорит:

«Если бы Буян нам не показал дорогу, мы бы пропали. Вот твой Буян какая добрая, хорошая собака». И Ваня был очень рад. «Теперь мы его будем кормить самым лучшим и класть

Буяна спать...»

Затем опять в записной книжке Л. Н-ча следуют указания на постепенное усваивание учениками различных грамматических форм, правил правописания и т. п.

Первое издание «Азбуки» в 1872 г. представляет собою ничто иное, как подробное развитие плана, набросанного еще в 1868 году, со включением в него славянского чтения и арифметики.

Мы останавливаемся несколько дольше на истории этого труда, так как сам Л. Н-ч придавал ему большое значение.

В 1868 году у Л. Н-ча гостил американский консул Скайлер, написавший интересные воспоминания о знакомстве своем с Толстым. Мы уже приводили некоторые выдержки из этих воспоминаний в первом томе биографии.

В этих воспоминаниях Скайлер говорит про Льва Николаевича:

«Он много расспрашивал меня о разных методах, употребляемых в Америке, и, по его просьбе, я мог доставить ему – я думаю, благодаря любезности г. Гаррисона – из «Nation» хороший выбор американских начальных и элементарных способов обучения чтению. В одном из них я помню, что произношение различных гласных и некоторых согласных было представлено наглядно буквами, в общем виде похожими на обыкновенные буквы, но с особенными отличительными переменами, которые тотчас бросались в глаза. Эти книги Толстой пробовал применять при изготовлении

своей азбуки, на что он употребил много времени».

После вышеприведенного конспекта «Азбуки», записанного в 1868 г., мы ни в записных книжках, ни в письмах не находим никаких следов работы до осени 1871 г.

В 70 году он принялся за изучение драмы, читает Шекспира, Гете, Мольера и собирается читать Софокла и Эврипида. Кроме того, он начинает изучать греческий язык, в несколько месяцев одолевает его настолько, что читает *a livre ouvert* Ксенофонта, и, наконец, переутомляется и заболевает. Летом совершает поездку на кумыс, в Самарскую губернию, и только вернувшись оттуда, осенью принимается за выполнение задуманного плана азбуки и книги для чтения.

Графиня Софья Андреевна пишет своей сестре 20 сентября 1871 года:

«Мы теперь опять занялись детскими книжками. Левочка пишет, а я с Варей переписываю, идет очень хорошо».

С этих пор он уже не прекращает напряженного труда над азбукой в течение целого года. Работа предстояла огромная. Кроме чисто литературной части, переводов, переделок и оригинальных рассказов, Л. Н-ч задумал дать целый ряд научно-популярных рассказов из естественных наук и для этого просматривал массу учебников, советовался со специалистами по каждому отделу, сам проделывал большую часть опытов, которые описывал.

Особенно увлекался он арифметикой, придумывая новые упрощенные объяснения разных действий.

Предполагая поместить в книгах для детей астрономические сведения, он занялся астрономией, увлекся ею и проводил целые ночи, наблюдая звездное небо.

Он изучал различные варианты былин, и результатом этого изучения явились прекрасные переложения наиболее известных былин, помещенных в книжках для чтения. Л. Н-ч особенно ценил сочинение о былинах Голохвастова.

Чтобы дать образцы славянского чтения, он делал выборки из летописей и Четьи-Миней.

Все эти образцы, объяснения и новые приемы проверялись, кроме того, на практике, так как он с этой целью завел снова школу, на этот раз уже у себя дома. В этой школе обучались до 30 детей, а учителями были он сам и почти все члены его семьи, даже старшие дети, которым было тогда 7 и 8 лет.

Вот что пишет об этой школе Софья Андреевна в письме к своей сестре Т. А.:

2-го февраля 1872 г.

«Мы вздумали после праздников устроить школу, и теперь каждое послеобедает приходит человек 35 детей, и мы их учим. Учит и Сережа, и Таня, и дядя Костя, и Левочка, и я. Это очень трудно учить человек 10 вместе, но зато довольно весело и приятно. Мы учеников разделили, я взяла себе 8 девочек и 2 мальчика. Таня и Сережа учат довольно порядочно, в неделю все знают уже буквы и склады на слух.

Учим мы их внизу, в передней, которая огромная, в маленькой столовой под лестницей и в новом кабинете. Главное то побуждает учить грамоте, что это такая потребность и с таким удовольствием и охотою они учатся все».

10 марта 1872 г.

«У нас все продолжается школа, идет хорошо, ребята детям носят разные деревенские штучки: то деревяшки какие-то, правильно нарезанные, то жаворонки, сделанные из черного теста; после классов таскают Таню на руках, иногда шалят, но почти все выучились читать довольно бойко по складам».

6 апреля 1872 г.

«Каждое утро своих детей учу, каждое послеобеда школа собирается. Учить трудно, а бросить теперь уже жалко: так хорошо шло учение, и все читают и пишут, хотя не совсем хорошо, но порядочно. Еще поучить немного, и на всю жизнь не забудут».

Наконец, с таким трудом и увлечением составленная «Азбука» была готова, по крайней мере вчерне, и Л. Н-ч начал ее печатать. Ему хотелось самого широкого публичного обсуждения предлагаемого им метода, и он намеревался представить свою «Азбуку» на предстоящей педагогической выставке в Москве, которая должна была открыться 30-го мая

1872 года.

Но этот план не удался. Типография задерживала печатание, в нем приходилось преодолевать множество технических трудностей, как, напр., надстрочные буквы, смешанные шрифты в одном и том же слове, арифметические таблицы и т. п. Так что за два месяца работы, к началу выставки, было набрано лишь 7 листов вместо предполагавшихся 25–30.

Л. Н-ч был в большом горе. Трудность работы увеличилась, а между тем он снова стал чувствовать переутомление, ему необходим был отдых, и никто не мог заменить его в этом деле.

Из этой беды его выручил Ник. Ник. Страхов, взявшийся продолжать печатание «Азбуки» в Петербурге и держать ее корректуру, руководясь советами в инструкциях Льва Николаевича.

По этому делу между ними возникла обширная переписка, из которой мы приводим наиболее интересные выдержки.

3-го марта 1872, Ясная.

«Как мне жалко, многоуважаемый Николай Николаевич, что мы так давно с вами замолчали. Я, кажется, виною этого. Получив ваше письмо, мне так захотелось побеседовать с вами. И статей ваших не было до нынешней прекрасной о Дарвине. Что вы делаете? О себе не могу написать, что я делаю, – слишком длинно. Азбука занимала и занимает меня,

но не всего. Вот этот остаток-то и есть то, о чем я не могу написать, а хотелось бы побеседовать. Азбука моя кончена и печатается очень медленно и скверно у Риса, но я по своей привычке все мараю и переписываю по 20 раз».

Этот «остаток», как мы увидим ниже, был посвящен разработке материалов для задуманного им, но, к сожалению, не напечатанного романа из времен Петра Великого. О том же Л. Н-ч сообщает и Фету:

«Азбука моя не дает мне покою для другого занятия. Печатание идет черепашьими шагами, и черт знает, когда кончится, а я все еще прибавляю и изменяю. Что из этого выйдет – не знаю, а положил я в него всю душу».

При составлении книг для чтения Л. Н-чу захотелось дать образцы содержательных, простых, художественных и доступных детям рассказов, и он исполнил это блестящим образом; об этом прослышали редакторы журналов и стали одолевать Л. Н-ча, выпрашивая дать что-нибудь напечатать. Л. Н-ч обещал некоторым и сейчас же почувствовал на себе тяжесть этого обязательства. Один рассказ он обещал «Заре», сотрудником которой был Страхов, и он в том же письме выражает ему свои сомнения насчет этого:

«Между нами будь сказано, это обещание меня стесняет, а пользы для «Зари» не будет. Это так ничтожно и оговорка, что из Азбуки, уничтожит все, что даже мог бы значить ноль. Если можно выхлопотать мне свободу – очень одолжите. Если будет какое-нибудь достоинство в статьях Азбуки, то оно

будет заключаться в простоте и ясности рисунка и штриха, т. е. языка; а в журнале это странно и неприятно будет, точно не законченное, как в картинной галерее какой бы ни было рисунки карандашом без теней».

Конечно, получив для «Зари» рассказ Л. Н-ча, Страхов не замедлил выразить ему свой восторг, на что Л. Н-ч отвечал ему:

15-го апреля 1872 года, Ясная.

«Письмо ваше очень порадовало меня, многоуважаемый Николай Николаевич. Будет с меня и того, что вы меня так понимаете. А от публики я не только не жду суждений, но боюсь, как бы не раскусили. Я нахожусь в положении лекаря, старательно скрывшего в сладеньких пилюлях пользительное, по его мнению, касторовое масло и только желающего, чтобы никто не разболтал, что это лекарство, чтобы проглотил, не думая о том, что там есть. А оно уж подействует».

Рассказы из Азбуки, которые Л. Н-ч дал напечатать, были: «Кавказский пленник» в «Заре» (1872, 2) и «Бог правду видит» в «Беседе» (1872, 3).

На новое предложение Страхова поместить один из рассказов в «Семейных вечерах» Кашперовой Л. Н-ч отвечает уже с раздражением:

«Что касается до Кашперовой, то я не только давать что-нибудь в «Вечера» не намерен, чтобы выручить свои деньги по 400 руб. за лист, но только радуюсь уроку никогда не от-

вечать на редакторские письма и прятать бумажник и серебряные ложки в присутствии редакторов. Не обвиняйте меня за раздражение. Я раздражен на себя за то, что изменил своему правилу – не иметь дела с журналами и литературой. Я жду и желаю для полного своего пристыжения, чтобы оба рассказа, которыми я дал повод рассуждать о себе умникам журналистам и за которые я ничего не получил, были бы напечатаны в хрестоматиях, а моя бы Азбука не вышла. Так и будет».

Наконец в мае Л. Н-ч обращается к Страхову с просьбой избавить его от тяготевшей над ним издательской работы, принять на себя его дело; вот что он пишет:

19-го мая 1872 г.

«Любезный Николай Николаевич! Великая к вам просьба. Хочется сделать кучу предисловий о том, как мне совестно и т. д., но дело само за себя скажет. Если вам возможно и вы хотите мне сделать большое дело, вы сделаете. Вот в чем дело. Я давно кончил свою Азбуку, отдал печатать, и в 4 месяца печатание не только не кончилось, не началось и, видно, никогда не начнется и не кончится. Зимой я всегда зарабатываю и летом кое-как оправляюсь, если не работаю. Теперь же корректуры, ожидание, вранье, поправки типографские и свои измучили меня и обещают мучить все лето. Я вздумал теперь взять это от Риса и печатать в Петербурге, где, говорят, большие типографии и они лучше. Возьметесь ли вы на-

блюдать за этой работой, т. е. приискать человека, который держал бы черновые корректуры (тоже за вознаграждение). Только вам я бы мог поручить эту работу так, чтобы самому уже не видеть ее. Вознаграждение вы определите сами, такое, которое бы равнялось тому, что зарабатываете в хорошее время. Время, когда печатать, вы определите сами. Для меня чем скорее, тем лучше. Листов печатных будет около 50-ти. Если вы согласитесь, то сделаете для меня такое одолжение, значения которого не могу вам описать. Умственная и душевная работа моя по делу этому кончилась, но пока это не напечатано, я не могу спокойно взяться за другое дело, и оттого это мучает, томит меня. Благодарю вас очень за корректуру статьи. Она мне не понравилась в печати, и я жалею, что напечатал и ту, и другую. И забавно то, что ни тот, ни другой журналы не платят мне денег. Выгода та, что уж вперед, наверное, никогда не отвечу ни на одно редакторское письмо. Не будете ли проезжать опять мимо Ясной? И нет ли надежды опять увидеть нас, хорошо бы было»

После некоторых колебаний, разъяснительных и дополнительных писем Страхов согласился наблюдать за изданием. На что Л. Н-ч отвечал ему радостным письмом:

«...Письмо ваше, дорогой Ник. Ник., так обрадовало меня, что жена уверила, что я вдруг сделался совсем другой и веселый. Мне теперь верится в возможность окончания этого дела».

Затем следует целый ряд писем с подробными описания-

ми, инструкциями, поправками, посредством которых Л. Н-ч издали лично руководил в высшей степени добросовестной работой Н. Н. Страхова.

В одном из этих писем (7-го августа 1872 г.) Л. Н-ч пишет:

«Я до одурения занимаюсь эти дни окончанием арифметики. Умножение и деление кончены и кончаю дроби. Вы будете смеяться надо мною, что я взялся не за свое дело, но мне кажется, что арифметика будет лучшее в книге».

В своих письмах к Страхову Л. Н-ч не скрывал от него, что, кроме особой любви и интереса к этому делу, он преследует и чисто материальные цели, надеясь, что Азбука эта принесет ему доход, в котором он нуждается, так как заботился о доставлении средств все увеличивающейся семье.

Впрочем, больших иллюзий на этот счет он не питал: так, в одном из писем, когда дело шло о продаже и назначении цены, он писал:

«Огромных денег я не жду за книгу и даже уверен, что, хотя и следовало бы, их не будет; первое издание разойдется сейчас же, а потом особенности книги рассердят педагогов, всю книгу растащат по хрестоматиям, и книга не пойдет. Имеют свои судьбы книги, и авторы чувствуют эти судьбы. Так и вы знаете, что ваша книга хороша, и я это знаю, но вы чувствуете, что она не пойдет. Издавая «Войну и мир», я знаю, что она исполнена недостатков, но знаю, что она будет иметь тот самый успех, какой она имела, а теперь вижу очень мало недостатков в Азбуке, знаю ее огромное преимущество

над всеми такими книгами и не жду успеха, именно того, который должна иметь учебная книга».

Сдав последние листы Азбуки в печать, Л. Н-ч чувствует себя снова свободным и пишет Страхову благодарственное письмо:

30-го сентября 1872 г., Ясная.

«Вы не можете себе представить, как я счастлив теперь, спихнув с себя эту работу, казавшуюся мне столь важною. Боюсь, что покажется вам длинно. Как мне ни жалко, даю вам *carte blanche* сократить в отделе примеров сложения и вычитания. Напишите, как и когда теперь кончится все и вы будете свободны, меня не будет мучить совесть за вас, и я – главное – вас увижу. Дня не проходит, чтобы я по нескольку раз не благословлял вас за то, что вы для меня делаете. Особенно теперь, когда я все эти последние дни насилу удерживал потребность начать свою настоящую работу. Теперь, благодаря вам, я могу начать и забыть про Азбуку».

Приводим здесь интересный проект объявления об Азбуке, составленный самим Л. Н-чем, который вместе с тем дает нам представление о ее содержании:

«1-го ноября выйдет Азбука гр. Л. Н. Толстого в 4-х отдельных книгах в 160–180 страниц каждая, содержащих: 1) азбуку и руководство для обучения чтению и письму; 2) статьи для русского чтения: басни, описания, сказки, повести и

статьи научного содержания (за исключением новых переводов Эзопа и Геродота и некоторых басен, рассказов и сказок, содержание которых заимствовано с индийского, арабского, немецкого, английского и народного, все статьи русского чтения написаны автором для настоящей книги); 3) руководство к правописанию и грамматике посредством напечатания особым шрифтом различных грамматических форм; 4) некоторые былины, изложенные правильным, по мнению автора, русским стихом; 5) руководство для обучения славянскому языку с объяснениями главных грамматических форм; 6) статьи для славянского чтения с русским переводом: выбранные места из летописи, житии из Четьи-Миней Макария и Дмитрия Ростовского и из Священного Писания; 7) арифметику, от счисления до дробей включительно, и 8) руководство для учителя».

Наконец Азбука вышла, и вот отзыв самого Л. Н-ча о ней в письме к Страхову от 12-го ноября 1872 г.:

«Азбука не идет и ее разбранили в «Петербургских ведомостях», это меня почти не интересует. Я так уверен, что я воздвиг памятник этой Азбукой. От Буняковского получил на 20 страницах письмо об арифметике. Он хвалит и критикует, дельно в том отношении, что я напрасно в дробях исключил все прежние приемы».

То значение, которое придает сам Л. Н-ч своему труду, что с ним случается очень редко, побуждает нас дать краткое описание этого оригинального произведения, представ-

ляющего к тому же теперь библиографическую редкость. Азбука и хрестоматия 1-го издания состоят из 4-х книг. Каждая книга разделена на части и каждая часть – на отделы. 1-я книга состоит из четырех частей, 1-ю часть составляет азбука в собственном смысле слова, т. е. алфавит с таблицей картинок на каждую букву, склады, фразы, составленные из слов, разложенных на склады, и, наконец, коротенькие рассказы, загадки, пословицы и поговорки, служащие упражнением той или другой буквы, которая произносится не так, как пишется.

Особенность алфавита, предложенного Толстым, заключается в том, что он дает особый, упрощенный рисунок букв, без утолщений и тонких штрихов, для того чтобы сложность рисунка не затрудняла запоминание главной фигуры.

2-я часть книги состоит из целого ряда рассказов, разделенных на четыре параграфа: рассказы первого параграфа служат упражнением в произведении некоторых букв и слогов. Рассказы второго параграфа подобраны так, что дают упражнения отдельно на каждый из знаков препинания. В третьем параграфе помещены упражнения в чтении стихов. Содержание всех этих рассказов очень разнообразно. Там есть и пересказы басен Эзопа, рассказы из индийской, еврейской и арабской мудрости, рассказы исторические, русские народные легенды, бытовые картины и т. д.

3-я часть книги содержит в себе упражнения в церковно-славянском языке, обязательном для учеников русской

школы как язык богослужебный, и состоит из образцов, заимствованных из древних летописей, из Четьи-Миней, из Библии, Ветхого и Нового Завета, и, наконец, несколько употребительнейших молитв.

4-я часть первой книги посвящена началам арифметики и знакомит учеников с различными способами изображений чисел: с названием цифр и чисел по древнеславянской системе, по римскому, арабскому и по русскому способу счета, с помощью «счетов».

Затем следуют упражнения в сложении, в уме и на счетах. Наконец, в конце 1-й части помещены несколько указаний для учителя, из которых мы приводим здесь статью «Общие замечания».

Общие замечания для учителя

Для того, чтобы ученик учился хорошо, нужно, чтобы он учился охотно; для того, чтобы он учился охотно, нужно:

- 1) чтобы то, чему учат ученика, было понятно и занимательно и
- 2) чтобы душевные силы его были в самых выгодных условиях.

Чтобы ученику было понятно и занимательно то, чему его учат, избегайте двух крайностей: не говорите ученику о том, чего он не может знать и понять, и не говорите о том, что он знает не хуже, а иногда и лучше учителя. Для того, что-

бы не говорить того, чего ученик не может понять, избегайте всяких определений, подразделений и общих правил. Все учебники состоят только из определений, подразделений и правил, а их-то именно и нельзя сообщать ученику.

Избегайте грамматических и синтаксических определений и подразделений частей и форм речи и общих правил. А заставляйте ученика видоизменять формы слов, не называя этих форм и – главное – больше читать, понимая то, что он читает, и больше писать из головы, и поправляйте его не на том основании, что то или другое противно правилу, определению или подразделению, а на том основании, что не понятно, не складно и не ясно.

По естественным наукам избегайте классификации, предположений о развитии организмов, объяснений строения их, а давайте ученику как можно более самых подробных сведений о жизни различных животных и растений.

По истории и географии избегайте общих обзоров земель и исторических событий и подразделений тех и других. Ученику не могут быть занимательны исторические и географические обзоры тогда, когда он не верит еще хорошенько в существование чего-нибудь за видимым горизонтом, а о государстве, власти, войне и законе, составляющих предмет истории, не может составить себе ни малейшего понятия. Для того, чтобы он поверил в географию и историю, давайте ему географические и исторические впечатления. Рассказывайте ученику с величавой подробностью про те страны, которые

вы знаете, и про те события исторические, которые вам хорошо известны.

По космографии избегайте сообщения ученику объяснения (столь любимого в педагогии) солнечной системы и вращения и обращения земли. Для ученика, ничего не знающего о видимом движении небесного свода, солнца, луны, планет и затмениях, о наблюдениях тех же явлений с различных точек земли, толкование о том, что земля вертится и бежит, не есть разъяснение вопроса и объяснение, а есть без всякой необходимости доказываемая бессмыслица. Ученик, полагающий, что земля стоит на воде и рыбах, судит гораздо здравее, чем тот, который верит, что земля вертится, и не умеет этого понять и объяснить. Сообщайте как можно больше сведений о видимых явлениях неба, о путешествиях и давайте ученику только такие объяснения, которые он сам может проверить на видимых явлениях.

В арифметике избегайте сообщения определений и общих правил, упрощающих счет. Ни на чем так не заметен вред сообщения общих правил, как на математике. Чем короче тот путь, посредством которого вы научите ученика делать действие, тем хуже он будет понимать и знать действие.

Самое короткое счисление есть десятичное – оно и самое трудное. Самый короткий прием сложения – начинать с меньших разрядов и приписывать одну из полученных цифр к следующему разряду – есть вместе и самый непонятный прием: нет ничего легче, как научить ученика при вычита-

нии считать за 9 всякий 0, через который он перескочит занимая, или научить приведению к одному знаменателю посредством помножения крест-накрест, но ученик, выучивший эти правила, уже долго не поймет, почему это так делается.

Избегайте всех арифметических определений и правил, а заставляйте производить как можно больше действий и поправляйте не потому что сделано не по правилу, а потому что сделанное не имеет смысла.

Избегайте весьма любимого (особенно в иностранных книгах для школ) помещения необычайных результатов, до которых дошла наука, – вроде того: сколько весит земля, солнце, из каких тел состоит солнце, как из ячеек строится дерево и человек, и какие необыкновенные машины выдумали люди. Не говоря уже о том, что, сообщая такие сведения, учитель внушает ученику мысль, что наука может открыть человеку много тайн, – в чем умному ученику слишком скоро придется разочароваться, не говоря об этом, голые результаты вредно действуют на ученика и приучают его верить на слово.

Избегайте непонятных русских слов, не соответствующих понятию или имеющих два значения, и особенно иностранных. Старайтесь заменять их словами, хотя и длиннейшими, хотя даже и не столь точными, но такими, которые в уме ученика возбуждали бы соответствующие понятия.

Вообще избегайте таких оборотов: это так-то называется,

это так-то, а старайтесь называть каждую вещь именно так, как ей следует называться.

Вообще давайте ученику как можно больше сведений и вызывайте его на наибольшее число наблюдений по всем отраслям знания, но как можно меньше сообщайте ему общих выводов, определений, подразделений и всякой терминологии.

Сообщайте определение, подразделение, правило, название только тогда, когда ученик имеет столько сведений, что сам в состоянии проверить общий вывод, – когда общий вид не затрудняет, а облегчает его.

Другая причина, по которой урок бывает неприятен и незанимателен, заключается в том, что учитель объясняет слишком длинно и сложно то, что давно уже понял ученик. Ученику так просто, что ему сказали, что он ищет особенного, другого значения, и понимает ошибочно или уж вовсе не понимает.

Такого рода толкования обыкновенны, в особенности, когда предметы уроков взяты из жизни. Например, когда учитель начнет толковать ученику, что такое стол, или какое животное лошадь, или чем отличается книга от руки, или: одно перо и одно перо – сколько будет перьев?

Вообще толкуйте ученику то, чего он не знает, и то, что вам самим было бы занимательно узнать, если бы вы не знали. При соблюдении всех этих правил часто случится, что ученик все-таки не будет понимать. На это будут две при-

чины. Или ученик уже думал о том предмете, о котором вы толкуете, и объяснил его себе по-своему. Тогда старайтесь вызвать ученика на объяснение его взгляда и, если он неверен, опровергайте его, а если верен, то покажите ему, что вы и он видите предмет одинаково, но с различных сторон.

Или же ученик не понимает оттого, что ему еще не пришло время. Это особенно заметно в арифметике. То, над чем вы тщетно бились по целым часам, становится вдруг ясно в минуту через несколько времени. Никогда не торопитесь, переждите, возвращайтесь к тем же толкованиям. *Для того, чтобы душевные силы ученика были в наивыгоднейших условиях, нужно:*

1) Чтобы не было новых, непривычных предметов и лиц там, где он учится.

2) Чтобы ученик не стыдился учителя или товарищей.

3) (Очень важное). Чтобы ученик не боялся наказания за дурное учение, т. е. за непонимание. Ум человека может действовать только тогда, когда он не подавляется внешними влияниями.

4) Чтобы ум не утомлялся. Определить число часов или минут, после которого ум ученика утомляется, – невозможно ни для какого возраста. Но для внимательного учителя всегда есть верные признаки утомления; как скоро ум утомлен, заставьте ученика делать физическое движение. Лучше ошибиться и отпустить ученика, когда он еще не утомлен, чем ошибиться в обратном смысле и задержать ученика, ко-

гда он утомлен.

Тупик, столбняк, упрямство происходят только от этого.

5) Чтобы урок был соразмерен силам ученика, не слишком легок, не слишком труден.

Если урок будет слишком труден, ученик потеряет надежду исполнить заданное, займется другим и не будет делать никаких усилий; если урок слишком легок, будет то же самое. Нужно стараться, чтобы все внимание ученика могло быть поглощено заданным уроком. Для этого давайте ученику такую работу, чтобы каждый урок чувствовался ему шагом вперед в учении.

Чем легче учителю учить, тем труднее ученикам учиться. Чем труднее учителю, тем легче ученику. Чем больше будет учитель сам учиться, обдумывать каждый урок и соразмерять с силами ученика, чем больше будет следить за ходом мысли ученика, чем больше вызывать на ответы и вопросы, тем легче будет учиться ученику.

Чем больше будет ученик предоставлен самому себе и занятиям, не требующим внимания учителя: переписыванию, диктованию, чтению вслух без понимания, заучиванию стихов, – тем труднее будет ученику.

Но если учитель положит и все силы на свое дело, то все-таки он не только со многими учениками, но и с одним учеником будет постоянно чувствовать, что он еще далеко не исполняет того, что нужно.

Для того, чтобы, несмотря на это всегдашнее недоволь-

ство собою, иметь сознание приносимой пользы, нужно иметь одно качество. Это же качество восполняет и всякое искусство учительское и всякое приготовление, ибо с этим качеством учитель легко приобретет недостающее знание.

Если учитель во время трехчасового урока не чувствовал ни минуты скуки, он имеет это качество.

Качество это есть любовь. Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, как мать, он будет много лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам.

Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он – совершенный учитель.

2-я, 3-я и 4-я книги расположены по тому же плану, как и первая, за исключением азбуки, составляющей 1-ю часть первого тома, и состоят поэтому каждая из трех частей: 1-я часть заключает в себе статьи для постепенного чтения, 2-я – упражнения в чтении на церковно-славянском языке и 3-я – арифметику. Каждая книга заключается наставлениями для учителей; наиболее интересны наставления по преподаванию арифметики.

Мы считаем своим долгом остановить внимание читателя на арифметическом методе Л. Н-ча, так как в нем есть много оригинального.

Главная цель преподавания арифметики, преследуемая

Л. Н-чем, – это сознательное отношение ученика к числу во всех его комбинациях и разложении и составлении его всевозможными способами, как наглядными, так и умственными. Для наглядного обучения Л. Н-ч широко пользуется русскими счетами, производя на них всевозможные примеры счисления, сложения и вычитания. Для умственного упражнения и для полного сознательного усвоения состава числа Л. Н-ч вводит в преподавание начальной арифметики различные системы счисления, кроме десятичной, производя все четыре действия с помощью этих различных систем.

Дав понятие о десятичных дробях, как о продолжении десятичного счисления после запятой, и пройдя затем целый ряд упражнений в различных системах счисления, Л. Н-ч подходит к простым дробям, рассматривая их как частные случаи различных систем счисления, подходя, таким образом, к ним с совершенно новой, неожиданной стороны и давая новое обобщение целых и дробных чисел.

Вот этот замечательный переход:

«Целые числа всегда считаются в десятичном счислении и редки в другом счислении, а дроби редко считаются в десятичном счислении и почти всегда в разных счислениях.

Дроби в десятичном счислении пишут так: 0,55 (35 сотых), 1,017 (одна целая и 17 тысячных) и т. д. А дроби в разных счислениях пишут так: наверху пишут числа, а внизу то, в каком оно счислении, и это нижнее число зовется знаменателем. А самое число, что пишется наверху, зовется чис-

лителем».

Тот же метод различных систем счисления проведен Л. Н-чем с большой последовательностью и в действиях над дробями, и в приведении дробей к одному знаменателю. Способы эти, даваемые Л. Н-чем, заслуживают, по нашему мнению, большого внимания.

Азбука Л. Н-ча, конечно, вызвала немало критических статей; как всегда, в этих статьях было много противоречивых суждений, часто взаимно уничтожающих, но почти все они сходились на одном осуждении предложенного Львом Николаевичем способа обучения чтению, который они считали допотопным, способом азов и т. д., и негодовали за отвержение нового звукового метода, который в то время уже начал распространяться в русских школах.

Эти нападки заставили Л. Н. обратиться с открытым письмом к издателям «Московских ведомостей», в котором он разъясняет свои отношения к этому вопросу. Приводим это письмо целиком:

«Прошу вас дать место в уважаемой вашей газете моему заявлению, относящемуся до изданных мною четырех книг под заглавием Азбука.

Я прочел и слышал с разных сторон упреки моей Азбуке за то, что я будто бы, не зная или не хотя знать вводимого нынче повсеместного звукового способа, предлагаю в своей книге старый и трудный способ азов и складов. В этом

упреке есть очевидное недоразумение. Звуковой способ мне не только хорошо известен, но едва ли не я первый привез его и испытал в России 12 лет тому назад, после своей поездки по Европе с целью педагогического изучения. Испытывая тогда и несколько раз потом обучение грамоте по звуковому методу, я всякий раз приходил к одному выводу – что этот метод, кроме того, что противен духу русского языка и привычкам народа, и кроме того, что требует особо составленных для него книг, и кроме огромной трудности его применения и многих других неудобств, о котором говорить здесь не место, – неудобен для русских школ, что обучение по нему трудно и продолжительно, и что метод этот легко может быть заменен другим. Этот-то другой метод, состоящий в том, чтобы называть согласные с гласной буквой и вкладывать на слух без книги, и был мною придуман еще 12 лет тому назад, употребляем мною лично во всех моих школах и по собственному их выбору всеми учителями школ, находившимися под моим руководством. И всегда с одинаковым успехом. Этот-то прием я и предлагаю в своей Азбуке. Он имеет только внешнее сходство со способом азов и складов, в чем легко убедится всякий, кто даст себе труд прочесть руководство для учителя к моей Азбуке. Способ этот отличается от всех других известных мне приемов обучения грамоте особенно тем, что по нему ученики выучиваются грамоте гораздо скорее, чем по всякому другому: способный ученик выучивается в 3–4 урока, хотя медленно, но правильно

читать, а неспособный – не более как в 10 уроков. Поэтому всех тех, которые утверждают, что звуковой способ есть самый лучший, быстрый и разумный, я прошу сделать только то, что я делал неоднократно, что я также предложил московскому Комитету грамотности сделать публично, т. е. сделать опыт обучения нескольких учеников по тому и другому способу.

Дело обучения грамоте есть дело практическое, и показать лучший и удобнейший прием обучения грамоте может только опыт, а не рассуждения, а потому всех тех, кого должно интересоваться и интересуется дело грамотности, я прошу, до произнесения решения, сделать опыт.

Самый процесс обучения грамоте есть одно из ничтожнейших дел во всей области народного образования, как я это уже высказал и в издаваемом мной журнале 12 лет тому назад, и в наставлении для учителя в изданной недавно Азбуке, но и в этом ничтожном относительно деле для чего идти хитрым и трудным путем звукового способа, когда того же самого можно достигнуть проще и скорее».

Закончив этот краткий исторический очерк Азбуки Л. Н-ча и описание ее содержания, мы переходим к другим отделам его педагогической деятельности 70-х годов, к опытам и проектам, большею частью не осуществленным, но тем не менее ценным по своей оригинальности и серьезности, с которой Л. Н-ч затрагивает в них самые существенные черты народной жизни.

Глава 7. Другие педагогические опыты

В своих педагогических занятиях второго периода Лев Николаевич не ограничился изданием «Азбуки»; создав свою систему обучения, он решил проводить ее в практику и, кроме домашней школы, где, как мы видели, эта система практиковалась успешно, ему хотелось распространить ее и на соседние школы. Для этого он собирает учителей к себе в усадьбу, и в том самом флигеле, где помещалась первая яснополянская школа, осенью 1873 г, происходили заседания кружка созданных Львом Н-чем учителей, которым он объяснял свою систему и тут же проверял ее на собранных из соседних деревень неграмотных детях.

Вот что пишет по этому поводу гр. Софья Андреевна своей сестре от 16 октября 1872 года:

«В том доме у нас целая толпа учителей народных школ, человек 12, приехали на неделю. Левочка им показывает свою методу учить грамоте ребят, и что-то они там обсуждают; навезли ребят из Телятинок и Грумонта, таких, которые еще не начинали, и теперь вопрос о том, как скоро они выучиваются по Левочкиной методе. Роман совсем заброшен, и это меня огорчает».

Мы полагаем, что из всего вышеизложенного читателю должна быть ясна сущность системы Л. Н-ча. Мы отметим

еще одну характерную особенность ее. Во всем, что Л. Н-ч делал для народа, он ставил себе один важный и неопровержимый критерий – это понятность этого дела для народа. Эту мысль он особенно ярко высказал в письме к г-же П., обратившейся к Л. Н-чу в 1873 году за советом и помощью в деле издания задуманного ею журнала «Русский рабочий». Вот что ответил ей Лев Николаевич:

«Я потому только мало сочувствую народному журналу, что я слишком ему сочувствую: я убежден, что те, которые за него возьмутся, будут а cent lieues от того, что нужно для народа. Мои требования, льщу себя надеждою, одинаковые с требованием народа, это – чтобы журнал был понятен. А этого-то и не будет. Понятливость, доступность есть не столько необходимое условие для того, чтобы народ читал охотно, но есть, по моему убеждению, узда для того, чтобы не было в журнале глупого, неуместного, бездарного. Если бы я был издатель народного журнала, я бы сказал своим сотрудникам: пишите, что хотите. Проповедуйте коммунизм, хлыстовскую веру, протестантизм, – что хотите, но только так, чтобы каждое слово было понятно тому ломовому извозчику, который будет везти экземпляры из типографии, и я уверен, что, кроме честного, здорового и хорошего, ничего не будет в журнале. Я не шучу и не желаю говорить парадоксов, а твердо знаю это из опыта. *Совершенно понятным и простым языком ничего дурного нельзя будет написать.* Все безнравственное представится столь безобразным, что сей-

час будет отброшено, все сектаторское – протестантское ли, хлыстовское ли – явится столь ложным, если будет высказано без непонятных фраз, все сколько-нибудь поучительное, популярно-научное, но не серьезное и, большею частью, ложное, чем всегда переполняются народные журналы, тоже без фраз, а выраженное понятным языком, покажется столь глупо и бедно, что тоже откинется. Если народный журнал серьезно хочет быть народным журналом, то ему надо только стараться быть понятным и достигнуть этого нетрудно. С одной стороны, стоит только пропускать все статьи через цензуру дворников, извозчиков, черных кухарок. Если ни на одном слове чтец не остановится, не поняв, то статья прекрасна. Если же, прочтя статью, никто из них не может рассказать, про что прочел, статья никуда не годится.

Я истинно сочувствую народному журналу и надеюсь, что вы отчасти согласитесь со мною, и потому говорю все это. Но знаю тоже, что 0,999 сочтут мои слова или просто глупостью, или желанием оригинальничать, тогда как я, напротив, в издании дамами журнала для народа – дамами, и думающими, и говорящими не по-русски без желания справиться с тем, понимает ли их народ – вижу самую странную и забавную шутку.

Я сказал: понятности достигнуть очень легко, с одной стороны – стоит только в рукописях читать и давать читать народу, но, с другой стороны, издавать журнал понятный – очень трудно. Трудно, потому что окажется очень мало материала.

Будет беспрестанно оказываться то, что статья, признанная *charmant* в кругу редакции, как скоро прочтется в кухне, будет призвана никуда не годной, или что из 10-ти листов слов окажется дела 10 строк».

Редакция «Тобольских ведомостей», печатая это письмо, прибавляет от себя, что Л. Н-ч оказался совершенно прав: журнал вышел ниже всякой критики; в нем большею частью печатались статейки, переведенные с английского, на безграмотном русском языке, и журнал просуществовал недолго.

Следующий документ показывает нам, что Л. Н-ч в то время серьезно задумывался о реформе русского языка в смысле народности.

В марте 1873 г. он пишет Н. Н. Страхову:

«Вы меня задели за живое, любезный Николай Николаевич. Мне стало грустно после того, как я прочел. Как и всегда, вы попали прямо на узел вопроса и указали его. Вы правы, что у нас нет свободы для науки и литературы, но вы видите в этом беду, а я не вижу. Правда, что ни одному французу, немцу, англичанину не придет в голову, если он не сумасшедший, остановиться на моем месте и задуматься о том — не ложный ли прием, не ложный ли язык тот, которым мы пишем и я писал, а русский, если он не безумный, должен задуматься и спросить себя: продолжать ли писать поскорее свои драгоценные мысли, стенографировать или вспомнить, что и «Бедная Лиза» читалась с увлечением кем-то и хвалилась, и поискать других приемов языка. И не потому что так

рассудил, а потому что противен этот наш теперешний язык и приемы, а к другому языку и приемам (он же получился народный) влекут мечты невольные. Замечание Данилевского очень верно, особенно в отношении науки и литературы так называемой, но поэт, если он поэт, не может быть несвободен, находится ли он под выстрелами или нет. Всякий человек так же свободен встать или не встать с постели в безопасности в своей комнате, как и под выстрелами. Можно оставаться под выстрелами, можно уйти, можно защищаться, нападать. Под выстрелами нельзя строить, надо уйти туда, где можно строить. Вы заметьте одно. Мы под выстрелами, но все ли? Если бы все, то и жизнь была бы так же нерешительна, дрянна, как и науки и литература, а жизнь тверда и величава, и идет своим путем, и знать не хочет никого. Значит, выстрелы-то попадают только в одну башню нашей дурацкой литературы. А надо слезть и пойти туда ниже, там будет свободно. И опять случайно это «туда ниже» есть народность. «Бедная Лиза» выжимала слезы, и ее хвалили, а ведь никто никогда уже ее не прочтет, а песни, сказки, былины, весьма простые, будут читать, пока будет русский язык. Я изменил приемы своего писания и языка, но, повторяю, не потому что рассуждаю, что так надобно, а потому что даже Пушкин мне смешон, не говоря уже о наших... а язык, которым говорит народ и в котором есть звуки для выражения всего, что только может сказать поэт, мне мил. Язык этот, кроме того, – и это главное – есть лучший поэтический регулятор. Захоти

сказать лишнее, напыщенное, болезненное – язык не повторит, а наш литературный язык без костей, так на нем что хочешь мели – все похоже на литературу. Народность славянофилов и народность настоящая – две вещи столь же разные, как эфир серный и эфир всемирный, источник тепла и света. Я ненавижу все эти хоровые начала и строи жизни, и общины, и братьев славянских, кем-то выдуманных, а просто люблю определенное, ясное, красивое и умеренное и все это нахожу в народной поэзии, языке и жизни и обратное в нашем».

Другое письмо к Страхову того же времени снова поднимает этот важный вопрос о народности, который Л. Н-ч разрешает совершенно оригинальным, ему одному свойственным путем.

«Заметили ли вы в наше время в мире русской поэзии связь между двумя явлениями, находящимися между собой в обратном отношении: упадок поэтического творчества всякого рода – музыки, живописи, поэзии и стремление к изучению русской народной поэзии всякого рода – музыки, живописи и украшения и поэзии. Мне кажется, что это даже не упадок, а смерть с залогом возрождения в народности. Последняя волна, поэтическая парабола, была при Пушкине на высшей точке, потом Лермонтов, Гоголь, мы, грешные, и ушла под землю. Другая линия пошла в изучение народа и выплывет, бог даст, а Пушкина период умер, совсем сошел на нет.

Вы понимаете, вероятно, что я хочу сказать. Счастливицы те, кто будет участвовать в выплывании. Я надеюсь».

Народное образование, умственная и духовная пища, даваемая народу, всегда самым глубоким и серьезным образом занимала Льва Николаевича. Доводя до известной практической цели свою систему начального образования, Л. Н-ч решил идти дальше, чтобы дать возможность тем людям из народа, которые имели к тому способности, охоту и материальную возможность, продолжать приобретение полезных знаний.

Занимаясь преподаванием, Л. Н-ч заметил в некоторых своих учениках жажду знания и стремление продолжать учебу. Ему помогал в преподавании его шурин, Степан Андреевич Берс. Они начинали с некоторыми из крестьян-учеников, окончивших начальную школу, изучение алгебры, и дело шло очень успешно. И вот у Л. Н-ча возникла мысль основания высшего училища для народа, но такого, чтобы поступление в него и обучение в нем нисколько не требовало изменения в условиях жизни учеников. «Пусть это будет *университет в лаптях*», – говорил Л. Н-ч. Главными предметами предполагалось сделать математику и один из иностранных языков. Была выработана программа и главнейшие пункты устава. Оставалось найти средства для осуществления этого дела. Тогда был предводителем дворянства в губернии приятель Л. Н-ча, Дм. Фед. Самарин. Он, узнав о проекте Л. Н-ча и отнесясь к нему весьма сочувственно, рас-

сказал, что в земстве имеется капитал в 30.000 р., предназначенный на народное образование и которому еще не дано назначение. Он предложил Л. Н-чу сделать на земском собрании доклад с просьбой дать эту сумму на учреждение высшего народного училища, нечто вроде учительской семинарии, и обещал поддержку.

Всегда отказываясь прежде от участия в выборах и выборной службе, на этот раз Л. Н-ч баллотировался в гласные и был единодушно выбран в члены училищного совета.

Степ. Андр. Берс говорит в своих воспоминаниях по поводу этого проекта следующее:

«В педагогических статьях Л. Н-ча неоднократно высказывалось, что наш образованный класс не в состоянии образовывать простого народа так, как это нужно народу, потому что видит благо народа в прогрессе и цивилизации. Поэтому он полагал создать учителей для народных школ из среды того же народа».

И далее там же:

«Я прочел и слышал с разных сторон упреки моей методе, которая заключалась в том, чтобы будущего учителя-селянина удержать в той обстановке, в которой живут все крестьяне, и чтобы образование не развило в нем новых внешних потребностей, кроме душевных».

Можно назвать эту цель более общим именем – создание народной деревенской интеллигенции.

Но проекту этому не было суждено осуществиться. До-

клад был сделан, и во время прений по этому вопросу, вначале весьма сочувственных, встал один старик и заявил, что в этот год Тула празднует столетие учреждения губернии Екатериной II, и что так как в то же время по всей России шла подписка на памятник Екатерине II, то не лучше ли в знак памяти и благодарности за оказанное Тульской губ. благодеяние пожертвовать этот капитал на памятник великой императрице-благодетельнице.

Собрание присоединилось к его просьбе, а Толстому постановили отказать. Неудача этой попытки не остановила Л. Н-ча в его дальнейшей педагогической деятельности.

Он был так поглощен этой деятельностью, что забросил все остальные дела. В это время он писал своей родственнице графине А. А. Толстой:

«Дело воспитания очень важное. Я только о нем и думаю. Я опять в педагогике, как 14 лет тому назад; пишу роман, но часто не могу оторваться от живых людей для воображаемых».

Это увлечение давало ему такое удовлетворение, что он чувствовал себя счастливым и, между прочим, писал гр. А. А. Толстой, что ему нечего писать о себе, потому что «les peuples heureux n'ont pas d'histoire».

Льву Николаевичу хотелось заинтересовать в этом деле широкий круг педагогов, и вот он решил выступить с защитой своей методы в Московском комитете грамотности.

«Заседание Комитета грамотности 15 января 1874 г., –

пишет один рецензент, – в котором граф Л. Толстой защищал буквослагательный метод обучения грамоте и опровергал звуковой, поистине может быть названо необычайным во всех отношениях. Во-первых, очень большой зал, в котором происходит заседание Комитета, был буквально битком набит публикой, так что многим пришлось сидеть на окнах, а некоторые принуждены были даже стоять – явление весьма редкое».

На заседание был приглашен стенограф, и все прения были дословно записаны.

Льву Николаевичу предложено было председателем изложить свой метод преподавания; но он отказался, прося предлагать ему вопросы, на которые он будет отвечать.

Председательствовал Шатилов, говорили Н. П. Малинин, Д. И. Тихомиров, М. А. Протопопов, Мазинг, Бронзов – все, приводя доводы в пользу звукового способа; в пользу буквослагательного говорили учителя Королев, Егоров и председатель Шатилов.

Л. Н-ч отвечал на возражения ораторов, причем спор перешел с узкого вопроса о способе обучения грамоте на более широкий вопрос о направлении начального образования вообще. Л. Н-ч, оставаясь на почве своих взглядов на свободу образования, порицал современную систему начального образования за навязывание народу особого развития «с направлением» и признавал в начальном обучении целесообразным лишь преподавание русского языка и арифметики,

находя, что преподавание естественных наук и истории извращает здравые народные понятия.

Споры были горячие, как всегда не приведшие ни к какому осязательному результату.

В подтверждение своих доводов Л. Н-ч предложил лично демонстрировать свой способ на одной из московских фабричных школ. Опыт был назначен на фабрике Ганешина, на Девичьем Поле, 16 и 17 января вечером. 16 января Л. Н-ч чувствовал себя нездоровым и не мог явиться, и демонстрация состоялась только вечером 17 января в присутствии членов Комитета грамотности и посторонней публики.

После этой демонстрации было решено произвести опыт в более широких размерах.

По предложению И. Н. Шатилова были учреждены в Москве при Комитете грамотности две первоначальные школы. В одной из них учение ведено было по звуковому способу г. Протопоповым, учителем, избранным сторонниками звукового способа, в другой учил учитель Петр Васильевич Морозов по способу гр. Л. Н. Толстого. Ученики были разделены в обе школы по равенству лет и способностей. Учение продолжалось равное время в той и другой школе, и обе школы были открыты для посетителей. После семи недель была назначена экзаменационная комиссия для произведения экзамена и заседание Комитета для заключения о преимуществах того и другого способа. Но члены экзаменационной комиссии разделились во мнениях, каждый почти

подал отдельное мнение, заседание комитета грамотности не пришло ни к какому заключению, и вопрос оставлен открытым».

Прения по этому вопросу происходили на заседании комитета грамотности 13 апреля 1874 г.

Вследствие большого разногласия присутствовавших на заседании и невозможности ясно изложить свои взгляды Л. Н-ч решил сделать это в печати и, по просьбе председателя Моск. ком. грамотн., Иосифа Ник. Шатилова, обратился с открытым письмом к нему, которое и было напечатано в «Отечественных записках» в № 9 за 1874 г.

Вот как рассказывает историю этой статьи Н. К. Михайловский в своих воспоминаниях:

«В 1874 г. гр. Толстой обратился к Некрасову с письмом (оно у меня сохранилось), в котором просил «Отечественные записки» обратить внимание на его, гр. Толстого, пререкания с профессиональными педагогами в Моск. комитете грамотности. Граф выражал лестную для нашего журнала уверенность, что мы внесем надлежащий свет в эту педагогическую распрю. Письмо это, совершенно неожиданное, возбуждало в редакции большой интерес. Собственно, Некрасов не особенно высоко ценил спор о приемах преподавания грамоты в народных школах, но гр. Толстой обещал отплатить за услугу услугой, разумея свое сотрудничество по беллетристическому отделу, и Некрасов как опытный журналист хорошо понимал значение сотрудничества автора «Войны и

мира». Впечатление, произведенное этим гигантским творением, было еще тогда очень свежо, и ему нисколько не мешали некоторые рискованные подробности философско-исторической части романа. Известно, что философско-исторические взгляды гр. Толстого были первоначально вплетены в самый текст «Войны и мира», а затем выделены в прибавление, или в особую часть. Читатели мысленно совершили эту операцию гораздо раньше самого автора: наслаждались несравненными красотами художественной части и пропускали, так сказать, сквозь пальцы часть философско-историческую. В связи с рассказами о гр. Толстом Некрасова, который его давно и хорошо знал, как-то сама собой установившаяся плохая репутация философско-исторической части «Войны и мира» заставляла опасаться, что в педагогической распре мы окажемся, пожалуй, не на стороне графа (за самой распрей никто из нас не следил). В конце концов, порешили на том, чтобы предложить самому гр. Толстому честь и место в «Отечественных записках»; он, дескать, достаточно крупная и притом вне литературных партий стоящая фигура, чтобы отвечать самому за себя, а редакция оставляет за собой свободу действий. Но гр. Толстому этого было мало. В новом письме к Некрасову он повторял уверенность, что у него с «Отечественными записками» никакого разногласия быть не может, и, выражая готовность прислать статью по предмету спора, настаивал на том, чтобы наш журнал предварительно сам высказался. Я взял на себя труд

познакомиться с делом, отнюдь не обязываясь писать о нем, и взялся не потому чтобы очень интересовался вопросом о методах преподавания грамоты, а просто в качестве горячего почитателя гр. Толстого как художника, который вдобавок завоевал себе новое право на общую симпатию напечатанным в «Московских ведомостях» письмом о самарском голоде. Но ни красоты «Войны и мира», ни прочувствованные строки о голодном мужике не могли, конечно, служить ручательством за правильность педагогических взглядов гр. Толстого. Притом же и мне самому приходилось еще только знакомиться с педагогическими вопросами. Я откровенно изложил гр. Толстому свое положение: так и так, преподавательским делом никогда не занимался, с литературой предмета совершенно не знаком, но постараюсь изучить ее, а для этого нужно время. Действительно, я добросовестно принялся за разные учебники, методики, статьи, посвященные вопросам о методе звуковом, буквослагательном и пр., в том числе и за старые педагогические статьи гр. Толстого, составляющие четвертый том его сочинений. На все это при обилии других занятий потребовалось столько времени, что граф Толстой меня не дождался: статья его «О народном образовании» была напечатана в сентябрьской книжке «Отечественных записок» 1874 г. и вызвала целую бурю как в общей, так и специально-педагогической литературе. Я же мог утилизировать плоды своего педагогического изучения только в январе 1875 г. Да и то я решился говорить только от лица и

имени «профана».

Первая часть этой замечательной статьи «О народном образовании» касается произведенного опыта с двумя школами, и так как эта часть письма не вошла в полное собрание сочинений, а между тем она имеет, по нашему мнению, важное значение как для истории педагогики, так и для характеристики самого Л. Н-ча, то мы и приводим ее здесь целиком.

Эта статья изложена в форме письма на имя председателя Московского комитета грамотности Иосифа Николаевича Шатилова.

«Милостивый государь Иосиф Николаевич!

Постараюсь исполнить ваше желание, т. е. написать то, или приблизительно то, что было высказано мною в последнем заседании комитета. Исполняю это с особенным удовольствием еще и потому, что в прежнем протоколе заседания, в котором напечатаны мои слова (я только что прочел его), я нашел много не имеющих ясного смысла фраз, которых, я помнится, не говорил. Если то, что было говорено мною в последнем заседании, должно быть напечатано, то настоящее письмо или может быть напечатано вместо стенографического отчета, или может служить ему поверкою.

Опыт испытания преимущества того или другого метода посредством учреждения двух школ и экзамена был столь неудачен, что после испытания оказались возможными самые противоположные суждения. Были сделаны ошибки в

самом устройстве школ. Первая ошибка состояла в том, что взяты в школы дети слишком малые, ниже того возраста и зрелости, при котором дети бывают способны к учению. Очевидно, что на детях, не способных еще учиться, нельзя делать опыта, каким образом легче и труднее учиться. Трехлетний ребенок одинаково не выучится ничему ни по какому способу, пяти- и шестилетний почти ничему не выучится; только на детях 10–11 лет можно видеть, по какому способу они выучатся скорее. Большинство же учеников обеих школ были дети 6, 7 и 8 лет, не достигшие еще возраста школьной зрелости, и потому только на старших учениках могло выказаться преимущество того или другого способа. В обеих школах было только по трое таких, и потому, сравнивая успехи той и другой школы, я буду говорить преимущественно о трех старших учениках.

Вторая ошибка состояла в том, что допущены были в школу посетители. В напечатанном в моей «Азбуке» кратком руководстве для учителя сказано, что одно из главных условий для успеха учения состоит в том, чтобы там, где учатся, не было предметов и лиц, развлекающих внимание учеников. Казалось бы, что условие это должно быть одинаково невыгодно как для той, так и для другой школы; но оно было невыгодно только для моей школы, потому что главное основание обучения по моему способу состоит в отсутствии принуждения и в свободном интересе ученика к тому, что ему предлагает учитель; тогда как обучение в звуковой шко-

ле основано на принуждении и весьма строгой дисциплине. Понятно, что учителю легче заинтересовать ученика там, где нет ничего развлекающего внимание учеников, а там, где постоянно входят и выходят новые лица, привлечь внимание ученика будет очень трудно, и что, напротив, в принудительной школе влияние развлечения будет менее ощутительно.

Третья ошибка состоит в том, что г. Протопопов отступил при обучении в своей школе от приемов, которые я считаю вредными, но которые считаются необходимым условием обучения при звуковом методе. Отступление это, без сомнения, было очень выгодно для обучавшихся детей, и если бы сторонники звукового метода признали, что это отступление не случайно, то одна из главных сторон моего разногласия с ними не существовала бы. Отступление г. Протопопова от своего метода состояло, во-первых, в том, что он не исполнил требования так называемого наглядного обучения, которое, по мнению педагогов, должно быть нераздельно связано с обучением грамоте и предшествовать ему. Бунаков и все столпы новой педагогики советуют большую часть времени употреблять на наглядное обучение.

На известных педагогических курсах прошлого года, как я слышал, все ученые педагоги, учителя учителей, показывали на учениках, что надо три четверти времени проводить в описании комнаты, стола и т. д. Это не было делаемо г. Протопоповым в тех размерах, в которых предписывается педагогами. Правда, я видел один раз, что, прочтя слово «дрозд»,

г. Протопопов хотел показать ученикам в лицах дрозда, но в картинах дрозда не оказалось, и г. Протопопов, попросив их поверить на слово, что дрозд – птица (что они очень хорошо знали), поспешил перейти к занятию чтением. Я повторяю, что отступление это очень выгодно для учеников и для дела, но надо признать его. И тогда, повторяю, я почти не спорю.

Другое отступление, сделанное г. Протопоповым от своего метода, состояло в том, что, противно общему правилу педагогов, что книги надо читать только в школе с объяснением каждого слова, г. Протопопов давал своим ученикам книги читать и на дом. Я считаю главной целью школы доводить учеников до того, чтобы они, интересуясь книгой, брали ее читать на дом и понимали бы ее, как они хотят, и поэтому г. Морозов давал ученикам книги на дом; но, сколько мне известно, по руководствам педагогов звукового метода, так как при нем дети считаются дикарями, которых надо месяца два учить правой и левой стороне и тому, что вверх, что вниз, то книг им давать не надо, и всякое слово должно быть объяснено. Опять, если мы и в этом согласны, убавляется еще одна важная часть спора.

Третье отступление состоит в том, что г. Протопопов давал читать своим ученикам не исключительно руководства педагогов звуковой школы, которые я считаю дурными. Для самого важного отдела чтения, того, которое производилось учениками дома для личного интереса, он употреблял именно мои книги – «Азбуку» и «Ясную Поляну». Эти две книги

были им постоянно даваемы ученикам на дом. Опять повторяю, что и на это я совершенно согласен, но надо признать это.

Четвертая и самая главная ошибка в устройстве школы было их соседство из двери в дверь и то, что дети вместе ходили в школу и уходили из нее. Многие ученики даже жили вместе на одних квартирах. Невыгодное влияние соседства и сближения учеников состояло в том, что ученики г. Протопопова научились от учеников г. Морозова моему способу складывания и, по моему убеждению, благодаря этому знанию выучились читать у г. Протопопова. Все мальчики школы г. Протопопова умеют складывать на слух и умели это делать с первых же дней, научившись этому от учеников Морозова. На экзамене мы видели, как они называли буквы – бе, ре и т. д. Способ складывания на слух так легок, что в моих прежних школах меньшой брат ученика всегда приходил в школу уже со знанием складов, которому он научился на слух от брата. В нынешнем году в яснополянской школе хозяйский мальчик 6-ти лет, считавшийся слишком молодым для учения, лежал на полотах во время учения и после нескольких уроков слез и стал хвастаться, что он все знает, – и действительно знал. Так и ученики г. Протопопова, перебегая через школу, возвращаясь вместе домой, научились складывать, и в классе г. Протопопова складывали собственно по моему способу, и, только удовлетворяя требованиям г. Протопопова, называли бе – б, в сущности же

читали по буквослагательному способу. Должен сказать, что г. Протопопов с чрезвычайной добросовестностью требовал от учеников, чтобы они забывали бе и называли б, и ученики старались делать то, что велит учитель. Я сам видел в классе г. Протопопова, как мальчик, давно прочтя слово «груша» и зная, что оно состоит из ге-ре-у-ше-а, бился и не мог выговорить г, р, чего требовал учитель. Итак, вследствие соседства школ, по моему мнению, ученики г. Протопопова выучились не благодаря звуковому методу, но скорее несмотря на него. Этот взаимный невольный обман, состоящий в том, что ученики выучиваются, в сущности, по буквослагательному, более естественному и легкому способу, а в угоду учителю притворяются, что они учатся по звуковому, был замечаем мною не раз во многих школах, в которых предписывается звуковой способ, Все опытные люди, наблюдавшие самый ход дела обучения грамоте в народных школах, как-то: инспектора, члены училищных советов, подтверждают, что в большинстве школ, где введен звуковой способ, он ведется только номинально, в сущности же дети обучаются по буквослагательному, называя согласные бы, вы, гы и т. д. Только этому взаимному обману можно приписать и то, что в обществах городских, где грамотность распространена, звуковой способ дает лучшие результаты, чем в деревнях.

В городах, где знают дети буквы и склады, переучиваясь по звуковому, они учатся, собственно, по буквослагательному, но приучаются откидывать ненужное при складах уки,

еди или е.

В последнем заседании комитета, на котором я был, у меня спрашивали, что я разумею под словами, что мой способ народен. Вот это самое. Я разумею то, что учитель с добросовестным усилением старается выучить детей русской грамоте по немецкому способу и против своей воли учит их по народному способу, и что ученики выучиваются ему бессознательно.

Таковы были ошибки в учреждении школ для испытания. Но, несмотря на самые противоречивые суждения, выраженные членами экзаменационной комиссии о результатах испытания, мне кажется, что результат испытания совершенно ясен, если рассматривать только тех учеников, которые могли учиться, т. е. 3 старших в той и другой школе. Определяя по знанию, я вижу, что старшие ученики г. Протопопова умеют читать и писать по-русски и больше ничего. Ученики школы Морозова умеют также читать по-русски (по моему, лучше), но, кроме того, знают нумерацию, сложение, вычитание и отчасти умножение и деление и еще читают по-славянски. Следовательно, знают гораздо больше. Определяя же по времени, я вижу, что ученики г. Морозова знали то, что знают теперь ученики г. Протопопова (я говорю про трех), чрез две недели после начатия учения, и справедливость этого могут подтвердить все посещавшие школу и видевшие, что 3 старшие ученика Морозова уже после двух недель читали так же, как теперь читают ученики г. Прото-

попова. Остальное время было употреблено г. Морозовым на славянский язык, арифметику и на те медленные шаги в улучшении чтения и письма, которые не могли быть заметны на экзамене.

Итак, ученики г. Морозова знают гораздо более того, что знают ученики г-на Протопопова, и менее чем в половину того времени, которое было употреблено г. Протопоповым, знали то, что знают ученики г. Протопопова. Вот, по моему мнению, ясный и очевидный результат испытания, доказывающий, что способ, по которому учил г. Морозов, несмотря на те ошибки, которые я указал, – что способ этот вдвое легче и быстрее, чем звуковой способ.

Если же рассматривать и меньших учеников, то и относительно их общий результат испытания будет тот, что все без исключения ученики г. Морозова умеют читать по складам, писать и знают цифры и нумерацию, ученики же г. Протопопова знают читать и писать, и больше ничего. И то из меньших учеников г. Протопопова надо исключить двоих, которые не знают даже и читать.

Но мы слышали в прошлом заседании и услышим от всякого педагога звукового метода и прочтем во всяком руководстве педагогов этой школы, что обучение грамоте ничего не значит, что главное дело – развитие».

Перейдем теперь к краткому изложению второй части статьи, вошедшей в полное собрание сочинений.

Л. Н-ч полагает, что одним из главных тормозов к ис-

тинному образованию служит изобретенное интеллигенцией и навязываемое народу понятие «развитие». Развитие есть движение, и его главное условие, цель, направление, конечный результат, которого должно достичь движение, должно быть ясно известно и определено, чтобы движение или развитие было осмысленно, а между тем этого-то и нет; цели развития ставятся неясные, произвольные и часто противоречащие одна другой.

Л. Н-ч приводит выдержки из методики Бунакова и Евтушевского и критикует их изложение. Главный мотив этой критики заключается в том, что эти системы основаны на заимствованных западных теориях и принципах и применяются к народному образованию без соображения о том, соответствует ли это мировоззрению народа, обычаю, экономическим условиям и степени развития той или другой местности, слоя населения или деревни.

От этого незнания народа, пренебрежения к его потребностям, от этого желания навязать ему свою науку происходит, по мнению Л. Н-ча, большая часть ошибок новейших педагогических систем. То они толкуют о том, что должно быть известно всякому деревенскому мальчику с двухлетнего возраста, как, напр., что потолок вверху, а пол внизу, то о самых простых вещах они говорят таким языком, который непонятен детям, и только запутывают их понятия вместо развития их. То же можно сказать и о преподавании арифметики; сидение в продолжение целого года на числах от 1 до 10,

годное разве только для идиотов, решение задач, имеющих претензию на бытовое содержание и которое в то же время совершенно недоступно, по своей искусственности, пониманию ученика, делает из интересного предмета нечто среднее между каторжной работой и толчением воды.

«По захолюстьям уже можно найти учителей, – говорит Л. Н-ч, – в особенности учительниц, которые, разложив перед собой руководство Евтушевского и Бунакова, прямо по ним спрашивают, сколько будет одно перо и одно перо и чем покрыта курица. Да, все это было бы смешно, если бы это был только вымысел историка, а не указание для практического дела, и указание, которому уже следуют некоторые, и если бы это дело не касалось одного из самых важных людских дел в жизни – воспитания детей. Мне было смешно, когда я читал это как теоретические фантазии; но когда я узнал и увидел, что это делается над детьми, мне стало и жалко, и стыдно».

Протестуя против этой постоянной опеки над народом, против этого насилия над душой ребенка, Л. Н-ч говорит далее:

«Педагогика находится в том же положении, в каком бы находилась наука о том, как должно ходить человеку; и люди стали бы искать правил, как учить детей, предписывать им сокращать тот мускул, вытянуть другой и т. д. и т. д. Такое положение новой педагогики прямо вытекает из двух ее основных положений: 1) что цель школы есть развитие, а не наука, и 2) что развитие и средства достижения его могут быть

определены теоретически. Из этого последовательно вытекло то жалкое и часто смешное положение, в котором находится школьное дело. Силы тратятся напрасно; народ, в настоящую минуту жаждущий образования, как иссохшая трава жаждет воды, готовый принять его, просящий его, вместо хлеба получает камень и находится в недоумении: он ли ошибался, ожидая образования, как блага, или что-нибудь не так в том, что ему предлагают? Что дело стоит так, не может быть ни малейшего сомнения для всякого человека, который узнает нынешнюю теорию школьного дела и знает действительное состояние его среди народа. Но невольно представляется вопрос: каким образом люди честные, образованные, искренно любящие свое дело и желающие добра, каковыми я считаю огромное большинство моих оппонентов, могли стать в такое странное положение и так глубоко заблудиться?»

Немного дальше Л. Н-ч говорит:

«Педагоги немецкой школы и не подозревают той сметливости, того настоящего жизненного развития, того отвращения от всякой фальши, той готовой насмешки над всем фальшивым, которые так присущи русскому крестьянскому мальчику, – и только потому так смело (как я сам видел), под огнем 40 пар умных детских глаз, на посмешище их выделывают свои штуки. Только от этого настоящий учитель, знающий народ, как бы строго ему ни предписывали учить крестьянских детей тому, что низ, что верх и что два и три

будет пять, – ни один настоящий учитель, знающий тех учеников, с которыми он имеет дело, не будет в состоянии того делать».

Одной из главных ошибок новой педагогики Л. Н-ч считает также то, что ее главная исходная точка есть критика старых приемов и придумывание новых, сколь возможно больше противоположных старым, но отнюдь не постановка новых оснований педагогики, из которых могли бы вытекать новые приемы.

Окончив критику заимствованных от немцев педагогических систем, Лев Николаевич приступает снова к изложению своей системы; при этом он оговаривается, что ему придется повторять те же доводы, которые он высказал уже в 1862 г. в своем журнале «Ясная Поляна».

Первыми в его системе, как тогда, так и теперь, являются вопросы: 1) чему нужно учить? и 2) как нужно учить? – и как тогда, так и теперь, вопросы эти остаются в ученом педагогическом мире без определенного ответа.

«А между тем – продолжает Л. Н-ч, – вопрос этот совсем не так труден, если мы только совершенно отрешимся от предвзятых теорий. Я пытался разъяснить и разрешить этот вопрос и, не повторяя тех доводов, которые желающий может прочесть в статье, выскажу результаты, к которым я был приведен. Единственный критерий педагогики есть свобода, единственный метод есть опыт.

При условии свободы в деле образования мы, несомнен-

но, дадим возможность самому народу высказаться, что ему нужно, и сделать выбор из предлагаемых ему нами знаний. Опытный же метод даст нам возможность найти наилучший способ передачи этих знаний.

Всякое движение вперед педагогики, если мы внимательно рассмотрим историю этого дела, состоит только в большем и большем приближении к естественности отношений между учителем и учениками, в меньшей принудительности и в большей облегченности учения.

Та школа, в которой меньше принуждения, лучше той, в которой больше принуждения. Тот прием, который при своем введении в школу не требует усиления дисциплины, хорош, тот же, который требует большей строгости, наверное дурен. Возьмите, например, более или менее свободную школу, такую, каковы мои школы, и попробуйте начать в ней беседы о столе и потолке или переставлять кубики, – посмотрите, какая каша делается в школе, как почувствуется необходимость строгостью привести учеников в порядок; попробуйте рассказать им занимательную историю, или задавать задачи, или заставьте одного писать на доске, а других поправлять за ним ошибки, и спустите всех с лавок – увидите, что все будут заняты, шалостей не будет, и не нужно будет усиливать строгость, – и смело можно сказать, что прием хорош».

Рассматривая положение школьного дела за 10-летнее существование земской школьной деятельности (1864–

1874 г.), Л. Н-ч замечает регресс самостоятельного народного обучения, начавшегося развиваться после освобождения крестьян от крепостной зависимости.

В административном и экономическом отношении земско-министерская опека оказывается также вредящей, а не способствующей развитию народного образования. Слишком высокие требования в устройстве школы и найме учителей не позволяют увеличивать числа школ, которые вследствие этого, по своей разбросанности и дальности расстояний, перестают обслуживать данный район, и тяжелая школьная подать обращается в прямое и бессмысленное насилие для той части населения, которая не пользуется школой.

Вот главные отличия взглядов народа и земства на ведение школьного дела:

«1) Земство обращает большое внимание на помещение и тратит на него большие деньги, – народ обходит эти затруднения домашними экономическими средствами и смотрит на школы грамотности как на преходящие временные учреждения; 2) земско-министерское ведомство требует ученья круглый год, за исключением июля и августа, и нигде не вводит вечерних классов, – народ требует ученья только зимою и любит вечерние классы; 3) земско-министерское ведомство имеет определенный тип учителей, ниже которых оно не признает школы, и имеет отвращение к церковникам и вообще местным грамотеям; народ никакой нормы не при-

нимает и избирает учителей преимущественно из местных жителей; 4) земско-министерское ведомство распределяет школы случайно, т. е. руководствуясь тем только, чтобы могло составиться нормальное училище, и не заботится о той большой половине населения, которая при этом распределении остается вне школьного образования, – народ не знает не только определенной внешней формы школы, а самими разнообразными путями приобретает себе на всякие средства учителей, устраивает школы худшие и дешевые на маленькие средства, хорошие и дорогие на большие средства, и при этом преимущественно обращает внимание на то, чтобы все местности пользовались на свои деньги ученьем; 5) земско-министерское ведомство определяет одну меру вознаграждения, довольно высокую, и произвольно увеличивает прибавку от земства, – народ требует наивозможнейшей экономии и распределяет вознаграждение так, чтобы оно платилось прямо теми, чьи дети учатся».

Изложив план целой сети мелких школ грамотности с учителями, нанятыми самим народом, Л. Н-ч задает себе вопрос:

«Но как же контролировать их, следить за ними, учить их, если их расплодится сотни по уезду?»

В каждом земстве, если оно взяло на себя обязанность распространения или содействия народному образованию, должно быть одно лицо, – будет ли то бесплатный член училищного совета или человек на жалованье не менее

1.000 руб., нанятый земством – одно лицо, заведующее педагогической стороной дела в уезде. Лицо это должно иметь общее свежее образование в пределах гимназического курса, т. е. основательно знать арифметику и алгебру, и быть учителем, т. е. знать практику педагогического дела. Лицо это должно быть свежееобразованное, потому что я замечал, что очень часто сведения человека, давно кончившего курс даже в университете, не освежавшего свое образование, бывают недостаточны не только для руководства учителей, но даже и для экзамена в сельской школе. Лицо это должно быть учителем в той же самой местности, для того чтобы в требованиях своих и наставлениях оно постоянно имело в виду тот педагогический материал, с которым имеют дело другие учителя, и поддерживало в себе то живое отношение к действительности, которое есть главное средство против заблуждений и ошибок. Если какое земство не имеет такого человека и не хочет нанять такого, то, по моим понятиям, такому земству делать решительно нечего относительно народного образования, кроме как давать деньги, потому что всякое вмешательство в административную часть дела (что теперь повсеместно делается) только вредно».

Потом, изложив подробно, как при предлагаемой им системе при той же денежной затрате можно содержать до 400 пригодных для народа училищ вместо 20, устроенных теперь по плану земства, Л. Н-ч так заключает свою статью:

«Если высказанное мною теперь не убедит никого, значит,

я не умел выразить то, что хотел, и переспоривать никого не желаю. Я знаю, что нет безнадежно глухих, как те, которые не хотят слышать. Я знаю, как это бывает с хозяевами. Новая молотилка куплена дорого, поставлена, пустили молотить, Молотит дурно, как ни подвинчивай доску, нечисто молотит, и зерно идет в солому. Но хоть и убыток, хоть и ясный расчет бросить молотилку и молотить иначе, но деньги потрачены, молотилка налажена, «пускай молотит», – говорит хозяин. То же будет и с этим делом. Я знаю, еще долго будут процветать наглядные обучения, и кубики, и пуговицы вместо арифметики, и шипенье и гиканье для обучения букв, и 20 школ немецких дорогих вместо нужных 400 дешевых народных. Но я тоже твердо знаю, что здравый смысл русского народа не позволит ему принять эту навязываемую ему ложную и искусственную систему обучения.

Народ, главное заинтересованное лицо и судья, и ухом не ведет теперь, слушая наши более или менее остроумные предположения о том, какими манерами лучше приготовить для него духовное кушанье образования; ему все равно, потому что он твердо знает, что в великом деле своего умственного развития он не сделает ложного шага и не примет того, что дурно, – и как стене горох будут попытки по-немецки образовывать, направлять и учить его».

Переходим теперь к краткому обзору главнейших критических отзывов об этой статье.

Н. А. Некрасов, бывший тогда редактором «Отечествен-

ных записок», писал Л. Н-чу по поводу этой статьи 12 окт. 1874 г. из Петербурга:

«Милостивый государь Лев Николаевич!

Статью вашу я напечатал и, выждав несколько времени, пишу вам, что все сотрудники отзываются о ней с сочувствием и единодушными похвалами. Публика петербургская не читает, а если читает, то молчит. Мне ваша статья очень по душе, и я думаю, что дело народного образования, которым вы занимаетесь, есть главное русское дело настоящего времени.

Н. К. Михайловский еще не покинул желания выступить в «0. 3.» по вопросам педагогическим и сделает это, как только представится случай.

Я очень доволен, что украсил журнал и хорошею статьею, и вашим именем.

Душевно вас уважающий *Н. Некрасов*».

Вслед за появлением статьи Л. Н-ча стали появляться во всех журналах и газетах критические отзывы о ней. Как всегда, эти отзывы были чрезвычайно разноречивы. Вот наиболее типичные из них:

Одним из первых появился ответ Бунакова в «Семье и школе» (№ 10, 1874), в котором он прямо и откровенно упрекает Л. Н-ча во лжи, невежестве, себялюбии и др. пороках. Во всех его упреках и обличениях слышится тон оскорб-

ленного самолюбия.

В критической статье В. Авсеенко в «Русском мире» (№ 227, 1874) автор с большим одобрением относится ко взглядам Л. Н-ча относительно немецкой школы, опасаясь за слишком большую свободу и бесконтрольность народного образования, которую тот допускает.

Критик «Недели» (№ 42, 1874 г.) одобряет Л. Н-ча за его протест против Бунакова, Евтушевского и Кү, но упрекает его за то, что Л. Н-ч смешивает этих неудачных представителей немецкой педагогики с самой наукой. Критик с большим сочувствием относится к требуемой Л. Н-чем свободе в образовании народа.

Критик «Одесского вестника», Семенюта, констатирует с удивлением и негодованием тот единодушный восторженный прием, который был оказан газетными рецензентами статье Л. Н-ча, и со своей стороны заявляет, что лучше бы Л. Н-ч совсем молчал, чем говорить такие бессмысленные вещи.

Г-н Ч. М. К. в «Семье и школе» (№ 12, 1874) высмеивает статью Льва Николаевича, его опыты в Москве и речи в комитете грамотности, но констатирует большое влияние его статьи и приводит факт изгнания учебника Евтушевского из Московской учительской семинарии.

В «Гражданине» (№ 48 и 50, 1874) появился обстоятельный и, как всегда, сочувственный разбор статьи Страховым, в которой он развивает и дополняет главные положения

Л. Н-ча.

Очень серьезная статья, замечательная по искренности и правдивости, была напечатана в «Новом времени» за подписью «Народный учитель». В этой статье автор, не делая никаких выводов, только сообщает впечатление, произведенное на него и на его товарищей, сельских учителей, этой статьей. «Лица второй категории (к первой категории он относит ученых педагогов), – говорит этот народный учитель, – прочитав статью гр. Толстого, свободнее вздохнули. Они как будто освободились от тяжелого гнета, давившего их некоторое время».

Скабичевский в «Биржевых ведомостях», относясь с большим сочувствием к статье Л. Н-ча, проводит параллель между его взглядами и взглядами Ушинского, находя в них то общее, что оба они признают педагогику искусством, а не наукой.

Во второй своей статье Скабичевский возражает Маркову, защищая Толстого от его нападок, и выражает свое сочувствие основному критерию Толстого – свободе.

В «Педагогическом листке» (1875), в статье, написанной в ироническом, несочувственном Л. Н-чу тоне, есть интересная заметка. Автор так начинает свою статью:

«Самым животрепещущим вопросом педагогики последних дней была статья гр. Толстого. Трудно было показаться куда-нибудь, не рискуя в сотый раз наткнуться на порядочно надоевший уже вопрос: а вы за кого – за Толстого или

за Евтушевского? Беспрестанно приходилось наткаться на людей, которых привык считать безопасными относительно писательских поползновений и которые с таинственным шепотом говорили: «А я, батюшка, хочу статеечку тиснуть». – «Насчет чего? – спрашивал я обыкновенно с самой невинной физиономией, – вероятно, насчет дороговизны...» – «Нет-с, насчет гр. Толстого!»

Да, много бумаги исписано по этому поводу и, вероятно, еще немало испишется ее в будущем».

Наконец, на защиту взглядов Л. Н-ча Толстого против немецкой педагогики выступил в «Отечественных записках» Н. К. Михайловский, заявивший себя горячим сторонником педагогических воззрений Толстого. Вот как он говорит о впечатлении, произведенном статьей «О народном образовании» 1874 г. по сравнению с впечатлением, вызванным статьями Л. Н-ча в 1862 г.:

«Пятнадцать лет тому назад граф Л. Н-ч Толстой издавал специально-педагогический журнал. Этого журнала и в обществе, и в литературе не замечали или трунили над ним. Были (помнится, в журнале «Время», а может, и еще где-нибудь) отзывы, сочувственные как положительной, так и отрицательной стороне педагогической деятельности гр. Толстого. Но, в конце концов, его педагогические воззрения оказались все-таки «явлением, пропущенным нашей критикой». Влияния, я полагаю, они не имели никакого и ни в каком смысле. И во всяком случае, это влияние не может идти ни

на какое сравнение с впечатлением, произведенным статьей гр. Толстого «О народном образовании», напечатанной в № 9 «Отечественных записок» за прошлый год. В этой статье, как говорит сам автор, как говорят все его противники (его сторонники этого не говорят), как оно в действительности и есть, выражаются, в сущности, те же мысли, что выражались пятнадцать лет тому назад в журнале «Ясная Поляна». Но «Ясная Поляна», выражаясь языком школьников, «провалилась», а на долю статьи «Отечественных записок» выпал такой громадный успех, каким едва ли может похвалиться какое бы то ни было литературное явление прошлого года: силы наших известнейших педагогов напряженнейшим образом сосредоточились на опровержении или защите положений и отрицаний гр. Толстого; заседания педагогического общества никогда не привлекали такого огромного числа посетителей, как в дни пререканий гг. Страннолюбского и Евтушевского об «Азбуке» гр. Толстого и статье «Отечественных записок»; в обществе под влиянием этой статьи появилось, по свидетельству г. Евтушевского, «резкое порицание всего нового направления педагогики»; наконец, газеты всех партий, всех цветов и оттенков с небывалым единодушием стали на сторону педагогической ереси гр. Толстого. И надо еще заметить, что гр. Толстой не принадлежит отнюдь к числу баловней нашей критики».

В одной из следующих статей Михайловский говорит: «Много лет тому назад гр. Толстой занялся педагогиею,

и занялся так, как у нас очень редко кто занимается своим делом. Он не только не принимал на веру какой бы то ни было готовой теории образования и воспитания, но, так сказать, взрыл всю область педагогики вопросами: это зачем? какие основания такого-то явления? какая цель такого-то? – вот с чем подходил гр. Толстой и к самой сути педагогики, и к разным ее подробностям. Делал он это с истинно замечательной смелостью. Смелость бывает разного рода. Есть смелость дикарей, подбегающих к самым жерлам направленных на них пушек, чтобы заткнуть их своими шляпами; это – смелость невежд, не имеющих понятия о трудностях предпринимаемого ими дела. Есть смелость Угрюм-Бурчевых, смелость мраколюбцев, почерпаемая из беззаветной ненависти к свету. Есть смелость нравственно пустопорожних людей, готовых идти в любой поход без всякого умственного и нравственного багажа, без знаний и убеждений и не рассчитывающих на победу, но и в поражении не видящих чего-нибудь печального или позорного. Есть смелость отчаяния, когда человек сознает, что дело его проиграно, и бросается в самый пыл битвы, чтобы погибнуть. Есть смелость бретеров, жаждущих борьбы для процесса борьбы. Есть, наконец, смелость людей, глубоко преданных своему делу и верящих, что оно не сегодня завтра восторжествует, что оно должно восторжествовать. В виду идеала, который им так ясен и близок, им не приходится гнуться перед господствующими мнениями, не приходится в оставленном ими храме видеть все-та-

ки храм и в низвержении ими внутри себя кумире все-таки бога. Педагогические воззрения гр. Толстого налицо (они собраны в 4-м томе его сочинений), и всякий непредубежденный человек должен признать, что смелость его была последнего рода».

И вот Михайловский задает себе вопрос: почему так долго не обращали внимания на педагогические воззрения Толстого, почему он сам не заметил их, и ставит гипотезу, объясняющую ему это явление. Он замечает во Льве Н-че десницу и шуйцу. Педагогические воззрения его он целиком относит к «деснице», равно как и многие другие идеи Л. Н-ча, выраженные в его художественных произведениях, и даже некоторые основные положения его философии истории в «Войне и мире». Но рядом с этими идеями он замечает и «шуйцу», к которой он относит проявляющееся в некоторых его произведениях пристрастие к его сословию, к привилегированному классу, к консервативным основам существующего строя. Реакционная печать ухватывается за эту именно часть, раздувает ее, объявляет Л. Н-ча своим сторонником и отпугивает от Л. Н-ча прогрессивный общественный элемент.

Вот как выражает эту мысль Михайловский:

«Эти несчастные не понимают, что то, что им нравится в Толстом, есть только его шуйца, печальное уклонение, «невольная дань» культурному обществу, к которому он принадлежит. Они бы были рады из него левшу сделать, то-

гда как он, я думаю, был бы рад, если бы родился без шуйцы. Повторяю, я только предполагаю, что графу Толстому должно быть обидно слышать похвалы пещерных людей, которые (похвалы) относятся только к его шуйце. Но мне лично всегда бывает обидно за гр. Толстого, когда я вижу усилия, и небезуспешные, пещерных людей замарать его своим нравственным соседством. Обидно не потому, что я сам желал бы стоять рядом с гр. Толстым, хотя, разумеется, и это привлекательно, но потому, что, марая его своим нечистым прикосновением, они отняли у общества чуть не всю его десницу. Почему читающей публике решительно неизвестны воззрения гр. Толстого? Отчего они не коснулись общественного сознания? Много есть тому причин, но одна из них, несомненно, есть нравственное соседство пещерных людей, холопски, т. е. с разными привираниями и умалчиваниями, лобызавших шуйцу гр. Толстого. Я на себе испытал это. Я поздно познакомился с идеями гр. Толстого, потому что меня отгоняли пещерные люди, и был поражен, увидав, что у него нет с ними ничего общего. Полагаю, что это не исключение, а общее правило.

Драма, совершающаяся в душе гр. Толстого, есть тоже моя гипотеза, но гипотеза законная, потому что без нее нет никакой возможности свести концы его литературной деятельности с концами. Гипотеза же эта объясняет мне все».

В кратких, но метких словах Михайловский выражает разницу между педагогами и Л. Н-чем Толстым:

«Педагоги вполне уверены в безусловных достоинствах своих идеалов и вместе с тем смотрят на народ, как на грубую, глупую и невежественную толпу. Применяясь к этой грубости, глупости и невежеству, они делают известные урезки в своих идеалах и, например, вместо ряда наук в известной последовательности, предлагают народу какую-то педагогическую окрошку, составленную из бессвязных обрывков разнообразнейших знаний, или низводят наглядное обучение, представляющееся им последним словом науки, до уровня вопросов о полете лошади и количестве ног у ученика. Выходят и волки сыты, и овцы целы, и идеалы наилучшего образования сохранены, и сделано снисхождение к глупости мужика. Гр. Толстой находится в ином положении. Не идеализируя мужика, не отрицая ни его грубости, ни его невежества, он видит в нем задатки громадной духовной силы, которой нужно только дать толчок».

Нам нет возможности, конечно, делать много выписок из этих интересных статей. Мы закончим наш очерк следующими словами Н. К. Михайловского:

«Хотя я и профан в философии и в педагогике и пишу, собственно говоря, фельетон, но рекомендую читать этот фельетон с усиленным вниманием. Не ради меня, а ради Толстого, ради тех тонких оттенков мысли, которые я только комментирую».

Система Л. Н-ча, конечно, до сих пор не принята в наших школах. Но мы твердо убеждены, что если в них есть что

живое, самобытное, то многим из этого живого они обязаны Толстому.

Эта усиленная педагогическая деятельность не встречала большого сочувствия в семье Л. Н-ча. Графине Толстой, хотя и с охотой занимавшейся в домашней школе с крестьянскими ребятами, была, очевидно, симпатичнее художественная деятельность Л. Н-ча. Это видно из следующего письма ее к своему брату С. А. Берсу от 20 ноября 1874 года:

«Наша серьезная зимняя жизнь наладилась. Левочка весь ушел в народное образование, школы, учительские училища, т. е. где будут образовывать учителей для народных школ, и все это занимает его с утра до вечера. Я с недоумением смотрю на все это, мне жаль его сил, которые тратятся на эти занятия, а не на писание романа, и я не понимаю, до какой степени полезно это, так как вся эта деятельность распространится на маленький уголок России – на Крапивенский уезд».

Немного позднее, 12 декабря того же года, Соф. Андр. писала своей сестре Т. А. Кузминской:

«Левочка выдумал писать еще «Азбуку» для детей, по примеру американских first, second and third reader. Ты, верно, видела у нас, где first reader начинается с очень коротких слов и так идет постепенно; и будет продаваться по 8 или 10 копеек. Роман не пишется, а из всех редакций так и сыплются письма: 10 тысяч вперед и по 500 р. за лист. Левочка об этом и не говорит, и как будто дело не до него касается.

А мне бог с ними – с деньгами, а главное, просто то его дело, т. е. писание романов, я люблю и ценю и даже волнуюсь им всегда ужасно; а эти азбуки, арифметики, грамматики я презираю и претворяться не могу, что сочувствую. И теперь мне в жизни чего-то недостает, чего-то, что я любила, и это именно недостает Левочкиной работы, которая мне всегда доставляла наслаждение и внушала уважение. Вот, Таня, я настоящая писательская жена, как к сердцу принимаю наше авторское дело».

Скажем несколько слов об этой «Новой Азбуке». Сознвая некоторые недостатки своей первой «Азбуки», Л. Н-ч подвергнул ее сильной переработке и ввел особый отдел постепенного чтения. В 1875 году была выпущена им «Новая Азбука».

В предисловии к этому изданию автор так определил его цель:

«Задача «Азбуки» состоит в том, чтобы за наименьшую цену дать учащимся наибольшее количество понятного материала, расположенного в такой правильной постепенности, от простого и легкого к сложному, чтобы постепенность эта служила главным средством обучения чтению и письму по какому бы то ни было способу. С этой целью сначала подобраны слова все понятные, все произносящиеся так, как пишутся, и все расположенные по ударениям, для того чтобы ученик узнавал значение каждого прочитанного слова и мог бы писать под диктовку, потом более сложные слова и более

сложные соединения из них, переходящие в басни, сказки и рассказы. Рассказы, басни и сказки составлены так, чтобы ученик мог без наводящих вопросов рассказать прочитанное, и потому статьи эти могли бы быть употребляемы для упражнения учеников в самостоятельном чтении и для диктовки.

Так как главная трудность в сознательном чтении состоит в длине самых слов, то вся первая часть «Азбуки» составлена из слов, не выходящих из двух слогов и шести букв. Во второй части употребляются слова, не выходящие из трех слогов, и только в последней – третьей – части поставлены слова четырех- и пятисложные».

Этот отдел постепенного чтения и составляет главное отличие «Новой Азбуки» от старой. Кроме того, в ней сделаны и некоторые значительные сокращения: так, арифметического отдела в новой азбуке уже нет.

Материал же для чтения, бывший в «Азбуке» первого издания, отделен в 4 книги для чтения на русском языке и в 4 книги для чтения на славянском языке.

Задача, поставленная себе автором, очевидно, была им достигнута с большим успехом, так как эта «Новая Азбука» выдержала уже 25 изданий. Причем последние пять изданий печатались в количестве 100000 каждое. Считая каждое издание в среднем около 60000, мы получим почтенную цифру 1500000, представляющую нам количество экземпляров азбуки, разошедшейся по России. А так как каждым экземпля-

ром пользуются несколько учеников, то мы должны прийти к заключению, что с этой азбукой знакомы многие миллионы русских людей.

Принимая еще во внимание сравнительно небольшое пространство грамотности в России, мы должны допустить, что ее знает вся грамотная Россия.

Еще одно обстоятельство усиливает ее значение: как известно, в начальных училищах до последнего времени можно было употреблять только те учебники, которые одобрены министерством народного просвещения. «Новая Азбука» Л. Н-ча Толстого не заслужила этого одобрения, и, стало быть, она не имеет официального распространения.

Тот, кто ее покупает и распространяет, тот делает это не по приказанию начальства, а по собственному убеждению в ее неотъемлемых достоинствах.

Подобным же успехом и распространением пользуются и его 4 книги для чтения, служащие продолжением «Азбуки».

Перед таким успехом «Новой Азбуки» какие бы то ни были критические отзывы теряют всякое значение, и потому мы не приводим их.

Издав «Новую азбуку», Л. Н-ч снова принимается за осуществление своей заветной мечты – народной учительской семинарии, т. е. такого заведения, которое доставляло бы народу своих дешевых учителей.

Вот что пишет графиня С. А. в октябре 1876 года своей сестре:

«Впрочем, Левочка за писанье свое еще не взялся, и меня это очень огорчает. Музыку он тоже бросил и много читает, гуляет и думает, собирается писать. Свою учительскую семинарию тоже он собирается устроить и уже нанял для этого кончившего курс в университете. Сегодня этот молодой человек приедет, и он будет учителем у Сережи. В том доме воздвигнуты лавки, столы, чинят и вставляют рамы, и, вместо милых вас, будут какие-то чуждые лица мужиков, семинаристов и проч.»

И до следующего 1877 года Л. Н-ч все еще не оставляет своей мысли. В письме к Страхову от 6 марта 1877 г. Л. Н-ч справляется об одном лице, кандидате на место директора проектированной им семинарии. Он пишет так:

«Еще маленькая просьба: Николай Александрович Соколов, кончивший курс в Педагогическом институте, имевший частную гимназию в Петербурге, теперь поступил в тульскую семинарию профессором физики и математики и предлагает себя в директоры моей предполагаемой семинарии. Что он за человек? как характер? Если его знают ваши знакомые, то разузнайте, пожалуйста, и напишите мне».

Но намерение это, очевидно, не осуществилось, и после этого документа мы, к сожалению, уже не встречаем нигде упоминания об этом замысле.

Переходим теперь к описанию фактов и событий за тот же период, но происходивших в других областях частной и общественной жизни Льва Николаевича.

Глава 8. Поездка на кумыс в самарское имение. Письмо о голоде

Тяготение Льва Николаевича в народе, к природе, к неиспорченной первобытной жизни выразилось отчасти в той симпатии, которую он почувствовал к обитателям заволжских степей, к кочующим башкирам и русским степным колонистам. Попав случайно, по совету врачей, для здоровья в 1862 г. на кумыс в Самарскую губернию, он был рад прикоснуться к этому нетронутому еще утолку природы. И с тех пор его заветной мечтой стало вернуться туда и основаться там более или менее прочно.

Ему удалось это сделать только в 1871 году.

Так как снова мотивом поездки его в Самарскую губернию было его нездоровье, причиненное, по мнению его жены и многих близких ему людей, его усиленными занятиями греческим языком, то мы и скажем несколько слов об этом увлечении.

Как кажется, поводом к этому увлечению были его занятия с его старшим сыном, которого он сам хотел готовить к гимназическому экзамену.

Так или иначе, но в декабре 70-го года Л. Н-ч взялся за классиков, стал быстро успевать и так увлекся этим делом, что забросил все остальные свои работы.

Вот что он пишет по этому поводу своему другу Фету:

«Получил ваше письмо уже с неделю, но не отвечал, потому что с утра до ночи учусь по-гречески. Я ничего не пишу, а только учусь. И судя по сведениям, дошедшим до меня от Борисова, ваша кожа, отдаваемая на пергамент для моего диплома греческого, находится в опасности. Невероятно и ни на что не похоже. Но я прочел Ксенофонта и теперь а *livre ouvert* читаю его. Для Гомера же нужен лексикон и немного напряжения. Жду с нетерпением случая показать кому-нибудь этот фокус. Но как я счастлив, что на меня бог наслал эту дурь. Во-первых, я наслаждаюсь, во-вторых, убедился, что из всего истинно прекрасного и простого прекрасного, что произвело слово человеческое, я до сих пор ничего не знал, как и все: и знают, но не понимают; в-третьих, тому, что я не пишу и писать дребедени многословной никогда не стану. И виноват, и, ей-богу, никогда не буду.

Ради бога объясните мне, почему никто не знает басен Эзопа, ни даже прелестного Ксенофонта, не говорю уже о Платоне, Гомере, которые мне предстоят. Сколько я теперь уж могу судить, Гомер только изгажен нашими с немецкого образца переводами. Пошлое, но невольное сравнение: отварная и дистиллированная вода и вода из ключа, ломящая зубы, с блеском и солнцем и даже соринками, от которых она еще чище и свежее. Все эти Фоссы и Жуковские поют каким-то медово-паточным, горловым и подлизывающим голосом. А тот черт и поет, и орет во всю грудь, и никогда ему в голову не приходило, что кто-нибудь его может слушать.

Можете торжествовать; без знания греческого языка нет образования. Но какое знание? Как его приобретать? Для чего оно нужно? На это у меня есть ясные, как день, доводы».

Лев Николаевич осуществил свое намерение и показал свой «фокус» компетентному человеку. С. А. Берс рассказывает об этом так:

«После окончания романа «Война и мир» Льву Николаевичу вздумалось изучить древнегреческий язык и познакомиться с классиками. Я достоверно знаю, что он изучил язык и познакомился с произведениями Геродота в течение трех месяцев, тогда как прежде греческого языка совсем не знал. Побывав тогда в Москве, он посетил покойного профессора Катковского лицея, П. М. Леонтьева, чтобы передать ему свои впечатления о древнегреческой литературе. Леонтьев не хотел верить возможности такого быстрого изучения древнего языка и предложил почитать вместе с ним *à livre ouvert*. В трех случаях между ними произошло разногласие в переводе. После уяснения дела профессор признал мнение Л. Н-ча правильным».

Эти усиленные занятия не замедлили отозваться на здоровье Л. Н-ча. Конечно, к расстройству его были и другие причины. В начало июня 1871 года он писал Фету:

«Любезный друг, не писал вам давно и не был у вас оттого, что был и есть болен, сам не знаю чем, но похоже что-то на дурное или хорошее, смотря по тому, как назвать конец. Упадок сил и ничего не нужно и не хочется, кроме спокой-

ствия, которого нет. Жена посылает меня на кумыс в Самару или Саратов на два месяца. Нынче еду в Москву и там узнаю, куда».

В Москве он решил ехать на прежнее место, в Самарские степи. До Нижнего пришлось ехать по железной дороге, а от Нижнего на пароходе до Самары. Выехав из Москвы, с дороги Л. Н-ч писал С. А.:

«...Обежал выставку и немного опоздал. Я подъезжал к дебаркадеру, был второй звонок, и билетов не выдают. Первое лицо я встречаю растрепанного барина с барыней, который мне кричит: хотите взять билет? Я взял, но вещи мои не приехали, и билет пропадает. Я говорю: мне до Нижнего, он говорит: и я до Нижнего. Я говорю: мне нельзя один билет, мне два. Он говорит: у меня два. Я заплатил барину двадцать рублей, вскочил в вагон, третий звонок, и поехал.

К чему это? Не знаю. Но необыкновенно».

Л. Н-ч поехал этот раз в сопровождении своего шурина С. А. Берса. О путешествии на пароходе С. А. Берс вспоминает так:

«На пароходе Л. Н-ч интересовался бытом поволжских народностей. Лев Николаевич обладает замечательною способностью сходитья с незнакомыми пассажирами во всех классах. Когда он попадал на угрюмых и необщительных незнакомцев, он все-таки не затруднялся подойти к ним и, после нескольких попыток, удачно вызывал их на разговор. Его талант психолога и сердце подсказывали ему приемы, и

он умел купить незнакомцев своим участием. В двое суток на пароходе он перезнакомился со всею палубою, не исключая и добродушных матросов, у которых на носу парохода мы проспали все ночи...

На Каралыке его встретили, как старого знакомого. Мы поселились в отдельной кочевке, нанятой у муллы, который жил с семьею в другой кочевке рядом. Не всякому в жизни случалось видеть кочевку. Она представляет собою деревянную клетку, имеющую форму приплюснутого полушария. Клетка эта покрывается большими войлоками и имеет деревянную расписную дверцу. Пол заменяет ковыль. Кочевка легко раскладывается и перевозится. Летом в степи это жилище весьма приятно.

Чтобы лечиться кумысом, надо, подобно башкирам, употреблять его как исключительную пищу и при этом оставить все мучное, овощи и соль, а есть только мясо.

Само собой разумеется, что Лев Николаевич приноровился к этому образу жизни, и оттого кумыс вскоре принес ему желанную пользу».

Но сначала, по приезде, Лев Н-ч чувствовал себя нехорошо и так писал об этом Софье Андреевне:

1871 года. 18 июня.

«...С тех пор, как приехал сюда, каждый день в шесть часов вечера начинается тоска, как лихорадка, тоска физическая, ощущение которой я не могу лучше передать, как то,

что душа с телом расстается. Душевной тоски о тебе я не позволяю подниматься. И никогда не думаю о тебе и детях, и оттого не позволяю себе думать, что всякую минуту готов думать, а стоит раздуматься, то сейчас уеду. Состояния я своего не понимаю: или я простудился в кибитке в первые холодные ночи, или кумыс мне вреден, но в три дня, которые я здесь, мне хуже. Главное, слабость, тоска, хочется играть в милашку и плакать, а ни с башкирами, ни со Степой это неудобно.

...Больнее мне всего за себя то, что я от нездоровья своего чувствую себя одной десятой того, что есть. Нет умственных и, главное, поэтических наслаждений. На все смотрю, как мертвый, то самое, за что я не любил многих людей. А теперь сам только вижу, что есть, понимаю, соображаю, но не вижу насквозь с любовью, как прежде. Если и бывает поэтическое расположение, то самое кислое, плаксивое, хочется плакать.

...Ново и интересно многое: и башкиры, от которых Геродотом пахнет, и русские мужики, и деревни, особенно прелестные по простоте и доброте народа».

Как интересно для психологии художника это определение поэтического взгляда на мир: смотреть и видеть не только то, что есть, а смотреть с любовью и видеть насквозь.

Обеспокоенная нездоровьем Л. Н-ча, Соф. Андр. делает ему выговор и отвечает так:

«...Если ты все сидишь над греками, ты не вылечишься. Они на тебя нагнали эту тоску и равнодушие к жизни настоящей. Недаром это мертвый язык, он наводит на человека и мертвое расположение духа. Ты не думай, что я не знаю, почему называются эти языки мертвыми, но я сама им придаю это другое значение».

Но вот силы Л. Н-ча понемногу восстанавливаются, он начинает входить в интересы окружающей его жизни и, по обыкновению, наблюдать. В письме к С. А. от 27 июня он дает такую бытовую картинку:

«...Башкирская деревня, зимовка, в двух верстах. На кочевке в поле у реки только три семейства башкир. У нашего хозяина (он мулла) четыре кибитки: в одной живут он с женой и сын с женой (сын Нагим, которого я оставил мальчиком тот раз), в другой – гости. Гости беспрестанно приезжают – муллы, и с утра до ночи дуют кумыс. В третьей кибитке два кумысника: таможенный чиновник, Петр Станиславович, которого очень уважает Иван, и болезненный богатый донской казак. В четвертой огромной кибитке, которая была мечеть прежде и которая протекает вся (что мы испытали вчера ночью) живем мы. Я сплю на кровати, на сене и войлоке. Степа – на перине на полу. Иван – на кожане в другом углу. Есть стол и один стул, кругом висят вещи, в одном углу буфет и продукты, как, по выражению Ивана, называется провизия; в другом платяная, уборная, в третьем библиотека и кабинет. Впрочем, так было сначала, теперь все

смешалось. В особенности куры, которых мы купили и которых мне ни с того ни с сего подарил один поп, портят порядок. Зато тут же при нас несутся, по три яйца. Еще лежит овес для лошади и собака, прекрасный черный сеттер, называется Верным. Лошадь буланая и служит мне хорошо. Я встаю очень рано, часов в пять с половиной (Степа спит до десяти), пью чай с молоком – три чашки, гуляю около кибиток, смотрю на возвращающиеся с гор табуны, что очень красиво, лошадей тысячи, все разными кучками с жеребятами. Потом пью кумыс, и самая обыкновенная прогулка, зимовка, т. е. деревня, там остальные кумысники, все, разумеется, знакомые. Первый управляющий гр. Уварова, в очках, с бородой, старый, степенный; московский студент, самый обыкновенный и потому скучный. Товарищ прокурора, маленький, в блузе, определительно говорит, оживляется, когда о суде речь, не неприятный. Его жена знает Томашевского и студентов, курит, и волосы короткие, но неглупая. Помещик Муромский, молодой, красивый, не окончивший курс в Москве. Все, даже Степа, зовут его Костей. Очень симпатичный. Все эти составляют компанию. Потом другая компания. Поп, почти умирающий (очень жалок), профессор семинарии греческого, – Степа его возненавидел, говорит, что он, верно, ставит единицы всем, – и буфетчик из Перми, все наши друзья. Потом брат с сестрой, кажется, купцы, смирные и, как купцы, все равно, что их нет. Я со Степой правильно два раза в день отправляюсь ко всем и к башкирцам знако-

мым, не забывая буфетчика, и, кроме того, одну большую делаю поездку или прогулку. Обедаем мы каждый день баранину, которую мы едим из деревянной чашки руками. Для утешения Степы я купил в Самаре пастилы и мармелад, и он продукты эти употребляет в десерт».

«Тотчас по приезде Лев Николаевич перезнакомился со всеми кумысниками и разогнал их уныние. – говорит С. А. Берс. – Старик, учитель семинарии, стал прыгать с ним через веревочку, товарищ прокурора искал случая с ним побеседовать, а молодой помещик и охотник из Владимирской губернии вполне поддался его влиянию.

Вскоре была предпринята вчетвером поездка по башкирским деревням. Мы запаслись подарками и ружьями. В дороге мы охотились по озерам на уток и останавливались у башкир в кочевках, где отдыхали и пили кумыс. За наши посещения мы отплачивали подарками при удобном случае».

Л. Н-ч пишет С. А. об этой поездке следующее:

«Поездка наша продолжалась 4 дня и удалась прекрасно. Дичи пропасть, девать некуда, уток пропасть, и есть некому. И башкиры, и места, где мы были, и товарищи наши прекрасны. Принимали нас везде с гостеприимством, которое трудно описать. Куда приезжаешь, хозяин закалывает жирного курдютского барана, ставит огромную кадку кумыса, стелет ковры и подушки на полу, сажает на них гостей и не выпускает, пока не съедят его барана и не выпьют его кумыса. Из рук поит гостей и руками (без вилки) в рот кладет гостям

баранину и жир, и нельзя его обидеть. Много было смешного. Мы с Костенькой пили и ели с удовольствием, и это нам, очевидно, было в пользу, но Степа и барон были смешны и жалки, особенно барон. Ему хотелось не отставать, и он пил, но под конец его вырвало на ковры, и потом, когда мы на обратном пути намекнули, не заехать ли опять к гостеприимному башкиру, то он чуть не со слезами стал просить, чтобы не ездили».

Берс добавляет еще один характерный эпизод:

«В гостях у башкир Лев Николаевич как-то вышел в степь из кочевки, загляделся на лошадь, отделившуюся от табуна, и сказал мне: «Посмотри, какой прекрасный тип дойной кобылы». Когда через час мы уезжали, хозяин привязал похваленную лошадь к нашей бричке в подарок графу. На обратном пути пришлось отдарить за похвалу».

По свидетельству Берса, Лев Николаевич находил много поэтического в кочевой и беззаботной жизни башкир. Он знал их быт и обычаи, а они давно знали и любили «графа» и так называли его. На Каралыке Льва Николаевича больше всех развлекал шутник, худощавый, вертлявый и зажиточный башкирец, Хаджи-Мурат, а русские его звали Михаилом Ивановичем. Он удивительно играл в шашки и обладал несомненным юмором. От плохого произношения русского языка шутки его делались еще смешнее. Когда в игре в шашки требовалось обдумать несколько ходов вперед, он значительно поднимал указательный палец ко лбу и приговаривал:

«большой думать надо». Это выражение заставляло смеяться всех окружающих, не исключая и башкир, и долго потом вспоминали его еще в Ясной Поляне.

Особенно ярко выражается отношение Л. Н-ча к этому краю в его письме к Фету от 18 июля 1871 г.:

«Благодарю вас за ваше письмо, любезный друг. Кажется, что жена сделала фальшивую тревогу, отослав меня на кумыс и убедив меня, что я болен. Как бы то ни было, но теперь, после четырех недель, я, кажется, совсем оправился. И как следует при кумысном лечении, – с утра до вечера пьян, потею и нахожу в этом удовольствие. Здесь очень хорошо, и если бы не тоска по семье, я был бы совершенно счастлив здесь. Если бы начать описывать, то я исписал бы сто листов, описывая здешний край и мои занятия. Читаю и Геродота, который с подробностью и большой верностью описывает тех самых галактофагов-скифов, среди которых я живу.

Вчера начал писать это письмо, и писал, что я здоров. Нынче опять болит бок. Сам не знаю, сколько я нездоров, но нехорошо уже то, что принужден и не могу не думать о моем боку и груди. Жара третий день стоит страшная. В кибитке накалено, как на полке, но мне это приятно. Край здесь прекрасный, по своему возрасту только что выходящий из девственности, по богатству, здоровью и, в особенности, по простоте и неиспорченности народа. Я, как и везде, примериваюсь, не купить ли имение. Это мне занятие и лучший

предлог для узнавания настоящего положения края. Теперь остается десять дней до шести недель, тогда напишу вам и устроимся, чтобы увидеться».

«В степи мы прожили, – продолжает рассказывать Берс, – шесть недель. В это время мы сделали еще одну поездку вдвоем на Петровскую ярмарку в г. Бузулук за 70 верст. Поехали мы на одной лошади в небольших дрогах и взяли с собой запас кумыса в небольшом турсуке. Ярмарка отличалась пестротой и разнообразием племен: русские мужики, уральские казаки, башкиры и киргизы. И в этой толпе Лев Николаевич расхаживал со свойственной ему любознательностью и со всеми заговаривал. Даже с пьяными он не боялся вступить в разговор. Какой-то пьяный мужик вздумал обнять его от избытка добродушия, но строгий и внушительный взгляд Л. Н-ча остановил его. Мужик сам опустил свои руки и сказал: «нет, ничаво, нябось».

Намерение Л. Н-ча осуществилось. Он успел убедить гр. С. А. в пользу покупки имения в Самарской губ., и эта покупка состоялась уже в Москве, по возвращении его с кумыса.

Разумеется, эта покупка установила более прочную связь Л. Н-ча с самарским краем, и почти каждый год с тех пор он посещает его. Более интересные из этих посещений мы теперь и опишем.

В 1872 году Л. Н-ч снова заработался, на этот раз над сво-

ей «Азбукой», и снова расстроил свое здоровье. Вся семья собиралась ехать на кумыс, но эта поездка расстроилась, и Л. Н-ч поехал один. Озабоченный ходом издания «Азбуки» и трудностью почтовых сношений с самарским хутором, он пробыл там недолго и к концу июля был уже в Ясной. За эту поездку он успел сделать распоряжение о необходимых постройках на вновь купленной земле и о первой запашке.

На другое лето вся семья поднялась из Ясной «на новые места».

11 мая 1873 года Л. Н-ч писал Фету:

«Стихотворение ваше прекрасно. Это новое, никогда не уловленное прежде чувство боли от красоты выражено прелестно. У вас весной поднимаются поэтические дрожжи, а у меня восприимчивость к поэзии. Я был в Москве, купил 43 нумера покупок на 450 руб., и уже не ехать после этого в Самару нельзя. Как уживается на новом гнезде ваша пташка? Не забывайте нас. До двадцатого мы не уедем, а после двадцатого адрес – Самара».

С. А. Берс снова сопровождает Толстых и рисует такую картину кумысной жизни этого лета:

«На это лето в имение был приглашен за плату башкир из той же деревни Каралыка с табуном дойных маток. Он привез свою жену и кочевку в небольшой тележке, а работник его пригнал табун наших кормилиц с их жеребятами, которых на целый день обыкновенно привязывали так, чтобы они не могли сосать, а только на ночь отвязывали их на свободу.

Старик-башкирец, Мухамед-Шах, а по отчеству и по-русски – Романович, отличался степенностью, вежливостью в обращении и аккуратностью, а потому выбор Льва Николаевича пал на него между всеми башкирами деревни Каралыка. Кочевка его внутри отличалась чистотой и изяществом, и все мы ходили к нему не только пить кумыс, но посидеть и побеседовать. Посредине кочевки на земле лежал ковер, а на нем подушки; сбоку стоял небольшой стол с двумя стульями. Все это предназначалось для нас. На решетчатой стене висело разукрашенное седло. Один бок кочевки был занавешен ярким ситцем со сборчатой оторочкой, и за этой занавеской скрывалась его жена, когда появлялись мужчины. Оттуда она подсовывала турсунок с кумысом и деревянную посуду. Лев Николаевич шуткой называл кочевку нашим салоном. Романович, как мы его звали, был всегда рад нашим посещениям, потому что, подобно всем зажиточным башкирам, никогда ничем не занимался. Кумыс мы пили все, кому он нравился».

Жизнь Толстых на новом хуторе ознаменовалась на этот раз важными последствиями для местного населения.

Несколько неурожайных годов значительно понизили благосостояние самарских крестьян, а сильный неурожай 73 года грозил настоящим бедствием. На помощь этому бедствию и пришел Лев Николаевич со своим могучим словом.

А. С. Пругавин, писавший о деятельности Л. Н-ча во время самарского голода 1873 года, в примечании к своей ста-

ть говорит следующее:

«Вообще нельзя не выразить удивления по поводу того, что корреспонденция графа Толстого, о которой идет речь в этой статье, до сих пор не вошла, сколько нам известно, ни в одно из изданий его произведений. Не говоря уже о том, что для русского общества имеет свое значение каждая заметка, вышедшая из-под пера великого писателя, – в данном же случае мы, без сомнения, имеем дело с одним из его писем, представляющим значительный интерес не только биографического, но и общественного характера».

Соглашаясь вполне с мнением А. С. Пругавина, мы приводим здесь существенную часть этого малоизвестного, или, вернее, забытого произведения Л. Н-ча:

Письмо к издателям.

«Прожив часть нынешнего лета в деревенской глуши Самарской губернии и будучи свидетелем страшного бедствия, постигшего народ вследствие трех неурожайных годов, в особенности нынешнего, я считаю своим долгом описать, насколько сумею правдиво, бедственное положение сельского населения здешнего края и вызвать всех русских к поданию помощи пострадавшему народу.

Надеюсь, что вы не откажетесь дать место моему письму в вашей газете.

О том, как собирать подписку и кому поручить распреде-

ление ее и выдачу, вы знаете лучше меня, и я уверен, что вы не откажете помочь этому делу своим содействием.

1871 год был в Самарской губернии неурожайный. Богатые крестьяне, делавшие большие посевы, стали только достаточными людьми. Достаточные крестьяне, также уменьшившие свои посевы, стали только нуждающимися, прежде не нуждавшиеся крестьяне стали нуждаться и продали часть скотины. Нуждавшиеся прежде крестьяне вошли в долги, и явились нищие, которых прежде не было.

Второй неурожайный год, 1873-й, заставил достаточных крестьян еще уменьшить посев и продать излишнюю скотину, так что цена на лошадей и рогатый скот упала вдвое. Ненуждавшиеся крестьяне стали продавать уже необходимую скотину и вошли в долги. Прежде нуждавшиеся крестьяне стали бобылями и кормятся только заработками и пособием, которое им выдавали. Количество нищих увеличилось.

Нынешний, уже не просто неурожайный, но голодный год должен довести до нужды прежде бывших богатыми крестьян и до нищеты и голода почти 9/10 всего населения.

Едва ли есть в России местность, где бы благосостояние или бедствие народа непосредственнее зависело от урожая или неурожая, как в Самарской губернии.

Заработки крестьян заключаются только в земледельческом труде: пахоте, покосах, жнитве, молотьбе и извозе.

В нынешний же год, вследствие трехлетнего неурожая,

посевы уменьшились и, уменьшаясь, дошли до половины прежних, и на этой половине ничего не родилось, так что у крестьянина своего хлеба нет и заработков почти нет, а за те, какие есть, ему платят 1/10 прежней цены, как, напр., за жнитво, которого средняя цена была 10 рублей за десятину, нынешний год платится 1 р. 20 к., так что крестьянин зарабатывает в день от 7-ми до 10 копеек.

Вот причина, почему в этот третий неурожайный год бедствие народа должно дойти до крайней степени.

Бедствие это уже началось, и без ужаса нельзя видеть народ даже в настоящее время, летом, когда только начинается самый бедственный год и впереди еще 12 месяцев до нового урожая, и когда еще есть кое-где заработки, хотя бы на время спасающие от голода.

Проехав по деревням, я, всегда живший в деревне и знающий близко условия сельской жизни, был приведен в ужас тем, что я видел: поля голые там, где сеяна пшеница, овес, просо, ячмень, лен, так что нельзя узнать, что посеяно, и это в половине июля! Там, где рожь, поле убрано или убирают пустую солому, которая не возвращает семян; где покосы, там стоят редкие стога, давно убранные, так как сена было в десять раз меньше против обычных урожаев, и желтые выгоревшие места. Такой вид имели поля. По дорогам везде народ, который едет или в Уфимскую губернию на новые места, или отыскивает работу, которой или вовсе нет, или плата за которую так мала, что работник не успевает выработать

на то, что у него съедают дома.

По деревням, во дворах, куда я заезжал, везде одно и то же: не совершенный голод, но положение, близкое к нему, все признаки приближающегося голода. Крестьян нигде нет, все уехали искать работы, дома – худые бабы с худыми и больными детьми и старики. Хлеб еще есть, но в обрез; собаки, кошки, телята, куры худые и голодные, и нищие, не переставая, подходят к окнам, и им подают крошечными ломтиками или отказывают.

Но это общее впечатление, на котором нельзя основываться. Вот расчеты села Гавриловки, ближайшего ко мне. Я очень хорошо знаю, что можно, подобрав факты, составить жалостливое описание положения крестьянских семей, из которого будет казаться, что все они на волоске от голодной смерти, и можно, с другой стороны, подобрать факты так, что будет повод говорить то, что, к несчастью и стыду своему, так любят говорить многие из нас, – что бедствия никакого нет, что все происходит только оттого, что крестьяне не работают, а пьянствуют и т. д., и потому я сделал опись каждого десятого двора в ближайшем ко мне селе Гавриловке, и верность этой описи подтверждается подписями старшин и священников.

В числе попавшихся под десятый номер есть и менее бедные крестьяне, как вы увидите, но большинство в самом бедственном положении».

Затем следует подворное описание экономического поло-

жения каждого десятого двора села Гавриловки. Таких дворов Л. Н-ч обошел 23. Список проверен и подписан священником села Гавриловки, сельским старостой и сельским писарем.

«Для каждого, кто потрудился вникнуть в эту вполне точную опись крестьянских семей и их средств, – продолжает Л. Н-ч., – должно быть ясно, что большая половина этих семей никак не может нынешний год прокормиться своими средствами, другая же половина, хотя, как мне кажется, и может прокормиться, отдав своих крестьян в работники, в сущности, находится точно в таком же плохом положении, как и первая половина, так как 9/10 всех деревень должны идти в работники, а хозяева по неурожаю отпускают и тех работников, которых прежде держали.

Положение народа ужасно, когда взглядишься и подумаешь о предстоящей весне, но народ как бы не чувствует и не понимает этого.

Только как разговоришься с крестьянином и заставишь его учесть себя и подумать о будущем, он скажет: «и сами не знаем, как свои головы обдумаем», но вообще, кажется, он спокоен, как и обыкновенно: так что для человека, который бы поверхностно взглянул теперь на народ, рассыпанный по степи дощипывать по колоску чуть видную от земли, кое-где взошедшую пшеницу, увидел бы здоровый, всегда веселый рабочий народ, услышал бы песни и кое-где смех, тому бы

даже странно показалось, что в среде этого народа совершается одно из ужаснейших бедствий. Но бедствие это существует, и признаки его слишком явны.

Крестьянин, несмотря на то, что сеет и жнет более всех других христиан, живет по евангельскому слову: «птицы небесные не сеют, не жнут, и отец небесный питает их», крестьянин верит твердо в то, что при его вечном тяжком труде и самых малых потребностях отец его небесный пропитает его, и потому не учитывает себя, и когда придет такой, как нынешний, бедственный год, он только покорно нагибает голову и говорит: «прогневали бога, видно, грехи наши».

Из приложенного отчета видно, что в 9/10 семей не достанет хлеба. Что же делают крестьяне? Во-первых, они будут мешать в хлеб дешевую и потому непитательную и вредную лебеду, мякину (как мне говорили, в некоторых местах уже начинают делать); во-вторых, сильные члены семьи, крестьяне, уйдут осенью или зимой на заработки, и от голоду будут страдать старики, женщины, изнуренные родами и кормлением, и дети. Они будут умирать не прямо от голода, а от болезней, причиною которых будет дурная, недостаточно питательная пища; и особенно потому, что самарское население несколькими поколениями приучено к хорошему пшеничному хлебу.

Прошлый год еще встречался кое-где у крестьян пшеничный хлеб, матери берегли его для малых детей; нынешний год его уж нет, и дети болеют и мрут. Что же будет, когда

недостанет и чистого черного хлеба, что уже и теперь начинается?

Страшно подумать о том бедствии, которое ожидает население большей части Самарской губернии, если не будет подана ему государственная помощь. Подписка, по моему мнению, может быть открыта всякая: 1) подписка на пожертвования и 2) подписка на выдачу денег для продовольствия заимообразно без процентов на 2 года. Подписка второго рода, т. е. выдача денег заимообразно, я полагаю, может составить ту сумму, которая обеспечит пострадавшее население Самарской губернии, и, вероятно, земство Самарской губернии возьмет на себя труд раздачи хлеба на эти деньги и сбора долга в первый урожайный год.

Граф Лев Толстой.

28 июня. Хутор на Тананыке».

«На этот раз, – говорит Пругавин в своей статье, – Лев Николаевич не ошибся в своей надежде на редактора «Московских ведомостей»: последний не только напечатал его корреспонденцию, но и открыл в газете подписку в пользу голодающих крестьян Самарской губернии.

Значение этой корреспонденции, – продолжает Пругавин, – и впечатление, произведенное ею на общество, было огромно. До корреспонденции графа Л. Н. Толстого никому и ничего вне Самарской губернии не было известно, что в ней происходит. Даже есть основание предполагать и боль-

ше: что и в самой-то Самарской губернии ничего не знали или не хотели знать, что в ней делается и что ожидает ее население. Корреспонденция графа Толстого была громом, заставившим всех перекреститься».

Кроме того, Л. Н-ч написал частное письмо своей родственнице А. А. Толстой, прося ее заинтересовать этим делом императрицу. Пожертвование государыни было одним из первых и открыло путь многим другим.

«Яркая картина положения самарского населения, – говорит А. С. Пругавин, – нарисованная рукою гениального художника, обратившегося на этот раз в статистика, произвела сильное и глубокое впечатление на русское общество. Возникла мысль возможно скорее прийти на помощь голодающим.

Особенно горячо отнеслись к этому делу русские интеллигентные женщины. Так называемые «дамские комитеты» Общества попечения о раненых и больных воинах с необыкновенною ревностью принялись за сбор пожертвований. В некоторых городах, как, например, в Петербурге, Казани, Риге и др., образовались временные комитеты со специальной целью сбора пожертвований для Самарской губернии. Особенно много сделал петербургский временный комитет, состоявший под председательством известной общественной деятельницы того времени Ан. Павл. Философовой.

18 сентября в Самарскую губернскую земскую управу поступило первое пожертвование в 2.300 рублей от Москов-

ской университетской типографии, находившейся и то время, как известно, в арендном содержании редактора «Московских ведомостей». Затем пожертвования полились со всех сторон, возрастая с каждым месяцем.

Так, в сентябре было получено 4980 р., в октябре – 7505 руб., в ноябре – 94949, в декабре – 384430 руб. С января месяца 1874 года сумма ежемесячных пожертвований начинает постепенно и мало-помалу убывать, а именно: в январе было получено 236956 р., в феврале – 116705 руб., в марте – 70373 руб., в апреле – 46004 руб., в мае – 33814 руб., июне – 24374 руб., в июле – 18480 руб. и в августе месяце – 3612 руб.

Пожертвования продолжали поступать и после, до 1876 года. Всего таким образом поступило в губернскую земскую управу свыше 1 миллиона рублей.

Всего же частных пожертвований в пользу населения Самарской губернии в голодовку 1873–1874 года было получено до 1887000 руб. деньгами и хлебом до 21 тыс. пудов.

Таким образом, графу Толстому пришлось сыграть в высшей степени важную роль в голодовку 1873–1874 г. Стоя всегда очень близко к народной массе, легко сходясь с народом, он не мог не заметить тяжелого, критического положения крестьян той округи, в которой ему пришлось побывать летом 1873 года (Патровская волость Бузулукского уезда).

Поразительная наблюдательность, которой всегда отличался талант графа Толстого в его художественных произведе-

дениях, его способность схватить своим пером наиболее существенные, хотя нередко скрытые и замаскированные черты и особенности того или другого жизненного явления, — ярко сказались и в его корреспонденции, посвященной описанию экономического положения самарских крестьян. Благодаря этому в сравнительно небольшой корреспонденции перед нами наглядно рисуется положение разных слоев крестьянского населения, картинно и отчетливо изображается влияние, которое оказали трехлетние неурожаи на хозяйство каждого из этих слоев.

Но всем этим не ограничивается деятельность Толстого на пользу населения, пострадавшего от неурожая, так как во время своего пребывания в Бузулукском уезде в 1873 году Лев Николаевич принимал личное, непосредственное участие в оказании помощи голодающим.

Когда в 1881 году нам пришлось посетить Бузулукский уезд, то от крестьян Патровской волости мы слышали много рассказов о сердечной заботливости, которую проявлял граф Толстой, живя среди них во время голодовки 1873 г., как он лично обходил наиболее нуждающиеся крестьянские дворы, с каким вниманием входил он в их интересы и нужды, как он помогал беднякам, снабжая их хлебом и деньгами, как он давал средства на покупку лошадей и т. д. Воспоминание об этой деятельности знаменитого писателя и до сих пор еще сохраняется в среде крестьянского населения Патровки, Гавриловки, Землянок и других сел того района».

Мы не можем не упомянуть об участии в этом деле графини С. А. Толстой и приведем ее собственное свидетельство об этом, как его передает г. Левенфельд:

«Вам известно «письмо» о самарском голоде, – сказала графиня, – Эту заслугу я сполна приписываю себе. Мы жили тогда, можно сказать, вдали от всякого человеческого жилья и вели совершенно замкнутый образ жизни, посвященный исключительно поправлению здоровья моего мужа. У нас было время наблюдать жизнь народа, и мы пришли к убеждению, что неурожай и сравнительно многочисленное население этой местности должны были привести к ужасному бедствию. Я убедила мужа основательно заняться этим вопросом. Он предпринял статистическое исследование всей местности, записывал число крестьянских хат, число едоков в каждой хате и количество имеющегося хлеба. Это исследование показало, что на каждую душу его приходилось так мало, что голод был неизбежен. Тогда-то он и опубликовал свое «письмо». Императрица дала первые деньги, хотя в правительственных кружках и очень недоброжелательно смотрели на это опубликование, потому что оно говорило не в пользу местного управления, но после того, как первая женщина в стране внесла свою лепту, пожертвования полились тысячами».

25 августа 1873 года, возвратясь уже в Ясную Поляну, Л. Н-ч писал Фету:

«23 мы благополучно приехали из Самары и сгораем же-

ланием вас видеть.

Спасибо, что не забываете нас. По-настоящему нет времени нынче писать вам, но так боюсь, чтобы вы не проехали мимо нас, что пишу хоть два слова. Несмотря на засуху, убытки, неудобства, мы все, даже жена, довольны поездкой и еще больше довольны старой рамкой жизни и принимаемся за труды респективные».

В 74-м году Л. Н-ч снова отправился на кумыс, со своим старшим сыном Сергеем, уже не столько для поправления здоровья, сколько для присмотра за хозяйством. Урожай был порядочный, и народ отдыхал от прошлогоднего бедствия.

На следующее лето, в 1875 году, в самарский хутор отправилась снова вся семья Толстых. Выдающимся событием за это лето были скачки, устроенные Л. Н-чем для местного населения. Заимствуем рассказ об этом из воспоминаний Берса.

«Через Мухамед-Шаха Романовича было разглашено, что граф Толстой устраивает у себя в имении скачку. Все местные и окрестные национальности: башкиры, киргизы, уральские казаки и русские мужики – все чрезвычайно любят скаковой спорт.

Мы сами выбрали ровную местность, опахали и измерили огромный круг в пять верст длиною и на нем расставили знаки. Для угощения были заготовлены бараны и даже одна лошадь. К назначенному дню съехались несколько тысяч народа. Башкиры и киргизы приехали со своими кочевками, ку-

мысом, котлами и даже баранами. Дикая степь, покрытая ковылем, уставилась рядом кочевков и оживилась пестрой толпой. На коническом возвышении, называемом по-местному «шишка», были разостланы ковры и войлок, и на нем кружком расселись башкиры с поджатыми под себя ногами. В середине кружка из большого турсука молодой башкир разливал кумыс и подавал чашку по очереди сидевшим. Это шла круговая. Песни, игра на дудке и на горле звучали грустно и заунывно для слуха европейца. Тут же любители состязались в борьбе. Башкиры – особенно искусные борцы. Глядя на все это, я представил себе татарское иго, тяготевшее в России».

Продолжаем описание скачек по письму гр. С. А. к ее сестре:

«Шестого у нас были скачки. Скакали 25 верст и проскакали в 39 минут, что очень быстро. Из 22-х лошадей пришли 4, остальные стали, не могли скакать. Первый приз был заграничное ружье и халат. Второй приз – глухие серебряные часы с портретом государя и халат, потом халаты, платки. В скачки съели в два дня 15 баранов и выпили страшное количество кумысу. Башкирцы плясали, пели свои национальные песни, играли на дудках и на горле, боролись и очень веселились. Все это было красиво и интересно; 4-х женщин, почетных башкирок, привезли в моей карете и крытом тарантасе, так как их мужчинам не показывают».

«Пир длился два дня, – заключает свой рассказ Берс, –

и отличался замечательной чинностью, порядком и оживлением. К удовольствию Льва Николаевича, не было никого из полиции. Все гости учтиво поблагодарили хозяина-графа и разъехались очень довольные. Даже в толпе, мне кажется, Лев Николаевич умел поселять entrain – и уважение к благопристойности».

По обыкновению, Л. Н-ч, на этот раз с семьей, посетил Петровскую ярмарку в Бузулуке и побывал в тамошнем монастыре, где спасался почитаемый народом отшельник. Он жил в подземной пещере. Выходя оттуда, он гулял по саду; посетителям показывали яблоню, посаженную им 40 лет тому назад, под которой он любил сидеть, принимая богомольцев. Он сам показывал Л. Н-чу и его семье свое пещерное жилище, гроб, в котором он спал, и большое распятие, перед которым он молился».

По свидетельству Л. Н-ча, уважение, которое народ питал к этому человеку, было проявлением серьезного религиозного чувства и показывало, что тот отшельник удовлетворял насущной потребности народа, служа примером чистой жизни, «не от мира сего».

По возвращении из Самары Л. Н. писал Фету:

26 августа 1875 года.

«Вот третий день, что мы приехали благополучно, и я только что опоминаюсь и спешу писать вам, дорогой Афанасий Афанасьевич, и благодарить вас за ваши два письма, ко-

которые больше чем всегда были ценны в нашей глуши. Надеюсь, что здоровье ваше лучше. Это было заметно по второму вашему письму, и надеюсь, что вы преувеличивали. Дайте мне еще опомниться, тогда подумаю, как бы побывать у вас. Вы же, по старой, хорошей привычке, пожалуйста, как это вам ни трудно, не приезжайте в Москву, не заехав. Урожай у нас был средний, но цены на работу огромные, так что в конце только сойдутся концы. Я два месяца не пачкал рук чернилами и сердца мыслями. Как о многом и многом хочется с вами переговорить, но писать не умею! Надо пожить, как мы жили в самарской здоровой глуши, видеть эту совершающуюся на глазах борьбу кочевого быта (миллионов на громадных пространствах) с земледельческим первобытным, чувствовать всю значительность этой борьбы, чтобы убедиться в том, что разрушителей общественного порядка, если не один, то не более трех скоро бегающих и громко кричащих, что это болезнь паразита живого дуба, и что дубу до них нет дела. Что это не дым, а только тень, бегающая от дыма.

К чему занесла меня судьба туда (в Самару) – не знаю, я слушал речи в английском парламенте (ведь это считается очень важным), и мне скучно и ничтожно было; но что там – мухи, нечистота, мужики, башкирцы, а я с напряженным уважением, страхом вслушиваюсь, вглядываюсь и чувствую, что все это очень важно».

Дальнейшие поездки в Самарскую губернию мы относим

уже к следующему периоду жизни Л. Н-ча, когда душа его уже была тронута начинающимся религиозным кризисом, оставшим на все его действия особый серьезный отпечаток.

**Часть III. Период
«Анны Карениной»**

Глава 9. Происхождение «Анны Карениной» и предшествовавшие литературные опыты

Увлеченный жизненным делом народной школы, системами обучения, «Азбукой», семинариями и другими педагогическими опытами в 70-х годах после окончания «Войны и мира», Л. Н-ч часто ощущал потребность художественного творчества. Нравственная ответственность перед народом, всегда стоявшая перед Л. Н-чем, стремление облегчить ему путь истинного самобытного прогресса заглушали в чем творческую потребность, отдаляя ее удовлетворение и накапливая творческую энергию, которая то там, то сям просачивалась через эту нравственную плотину.

И в его современных письмах мы встречаем указания на это. Так в письме к Фету осенью 1870 года Лев Николаевич, между прочим, пишет:

«Я охочусь, но уже сок начинает капать, и я подставляю сосуды. Скверный ли, хороший ли сок, все равно, а весело выпускать его по длинным, чудесным осенним вечерам».

Сперва он пробует драматическую форму. Еще весной того же года он писал Фету:

«Многое, очень многое хочется вам сообщить. Я очень много читал Шекспира, Гете, Пушкина, Гоголя, Мольера, и

обо всем этом многое хочется вам сказать».

Подробнее и яснее он выражает свое намерение в следующем письме:

«Вы мне хотите прочесть повесть из кавалерийского быта. Я жду от этого добра, если только просто, без замысла положений и характеров. А я ничего вам прочесть не хочу и ничего не пишу. Но поговорить о Шекспире и Гете и вообще о драме очень хочется. Целую нынешнюю зиму я занят только драмой вообще. И как это всегда случается с людьми, которые до сорока лет никогда не думали о каком-нибудь предмете, не составили себе о нем никакого понятия, вдруг с сорокалетней ясностью обратят внимание на новый ненанюханый предмет, им всегда кажется, что они видят в нем много нового. Всю зиму наслаждаюсь тем, что лежу, засыпаю, играю в безик, хожу на лыжах, на коньках бегаю и больше всего лежу в постели (больной), и лица драмы или комедии начинают действовать. И очень хорошо представляют. Вот про это-то мне с вами и хочется поговорить. Вы в этом, как и во всем, классик и понимаете сущность дела очень глубоко. Хотелось бы мне тоже почитать Софокла и Эврипида».

Льву Николаевичу хотелось создать историческое произведение, и, приступая к осуществлению этого намерения, он остановился на петровской эпохе. Им написано было несколько начал, – одно из них изображало собрание стрельцов. К сожалению, этим и ограничился его драматический опыт. Одной из причин прекращения этого дела был недо-

статок в источниках.

Но петровская эпоха все более и более заинтересовывала его. И в 1872 году, освободившись от «Азбуки», он принимается за большой роман. По многим письмам к родным и друзьям мы видим, с каким увлечением он работал.

Вот некоторые из этих писем.

В феврале 1872 г. он, между прочим, пишет Фету:

«Я кончил свои азбуки, печатаю и принимаюсь за задушевное сочинение, которое не только в письме, но и на словах едва ли расскажу, несмотря на то, что вы тот, кому можно рассказать».

С осени он принимается за это дело серьезно.

19 ноября 1872 года графиня С. А. пишет своему брату:

«...А теперь у нас очень, очень серьезная жизнь. Весь день в занятиях. Левочка сидит обложенный кучею книг, портретов, картин и нахмуренный читает, делает отметки, записывает. По вечерам, когда дети ложатся спать, рассказывает мне свои планы и то, что хочет писать, иногда разочаровывается, приходит в грустное отчаяние и думает, что ничего не выйдет, иногда совсем близок к тому, чтобы работать с большим увлечением, но до сих пор еще нельзя сказать, чтобы он написал, а только готовится. Выбрал он время Петра Великого...»

В следующем письме к брату в декабре графиня пишет:

«Левочка все читает исторические книги из времен Петра Великого и очень интересуется. Записывает разные характе-

ры, черты, быт народа и бояр, деятельность Петра и пр. Сам он не знает, что будет из его работы, но мне кажется, что он напишет опять подобную «Войне и миру» поэму в прозе, но из времен Петра Великого».

Сам Л. Н-ч около этого времени пишет Страхову:

«12 декабря. До сих пор не работаю. Обложился книгами о Петре I и его времени, читаю, отмечаю, порываюсь писать и не могу. Но что за эпоха для художника! На что ни взглянешь, все задача, загадка, разгадка которой только и возможна поэзией. Весь узел русской жизни сидит тут. Мне даже кажется, что ничего не выйдет из моих приготовлений. Слишком уж долго я примериваюсь и слишком волнуюсь. Я не огорчусь, если ничего не выйдет».

В этой эпохе Л. Н-ча особенно интересовал тип Меньшикова, выходца из народа. Он должен был стать одним из героев романа.

Всю зиму Лев Николаевич проработал над этой эпохой. Из письма графини С. А. мы видим, что много этой подготовительной работы уже было закончено.

В марте 1873 года Софья Андреевна пишет сестре о работе Льва Николаевича:

«...А все лица из времен Петра Великого у него готовы, одеты, наряжены, посажены на своих местах, но еще не дышат. Я это ему вчера сказала, и он согласился, что правда. Может быть, и они задвигаются и начнут жить, но еще не теперь».

Записная книжка Л. Н-ча того времени заполнена всевозможными заметками, касающимися этой эпохи, набросками, планами. Мы приводим некоторые из них, представляющие ценный материал для истории и психологии творчества.

Вот набросок весенней картинке природы:

«*Весна*. Вечер. Низкие, темные, сплошные, разорванные на заре тучи. Тихо, глухо, сыро, темно, пахуче, лиловатый оттенок... Скотина лохматая, из-под зимних лохмотьев светятся полянки перелинявших мест...

Лист на березе во весь рост, как платочек мягкий. Голубые пригорки незабудок, желтые поля свербигуса... Пчела серо-черная гудит и вьется и впивается. Лопухи, крапива, рожь в трубке, лезет по часам. Примрозы желтые. На острых травках, на кончиках, радуги в росе. Пашут под гречу. Черно, странно. Бабы тренькают пеньку и стелют серые холсты. Песни соловьев, кукушки и баб по вечерам. Дороги не накатаны еще...

...Дорог нет – травы на низах шелком. Чибисы. Шум ручьев. Птицы. Бабы, мальчишки босиком – ноги белые. Заходят Орион и Сириус.

Начало лета (июнь).

Синева – парит – грозы. Побегии на деревьях, росы. Цветы – везде. Желтые поля свербигуса, голубые – незабудок. Птица – соловьи. Народ, песни. Волнуется рожь, начала только. Ягоды – грибы. Сено преет. Гречиха лопается. Навоз пахнет. Дороги накатаны в поля. В лесу теснота. Гул пчел. Рои

бегут. Липа отяжелела от цвета. Шиповник. Нивы, луга стоят, серые от метелки, нескошенные.

Конец лета (август).

Дороги накатаны хлебом. Позднее сено на рядах, духи бо-лотные. Синева вдали. Ночи темные, звездные. Птиц нет – тишина. Белые грибы. На репьях пчелы. Плод на липе. Запах яблока. Дым густой, пахучий. Густота и тяжесть в нем. Скирды недокладенные на гумнах. Вода стальная и тихая, густая. Запах льна, конопли, огородов. Красные клоки в листе. Обьедки огурцов. Женщины в пышных рубахах, черно-загорелые, без панев. Жизни в избе нет. Поужинали и в ночное...»

А вот интересная заметка психологическая, черновая работа по изображению характеров:

15 января 1872 года:

«Главные характеры.

1. *Большой ум* – хорошая машина.

2. *Глуп* – дурная машина.

3. *Большая энергия*, влекущая к открытию тайн и к наслаждению.

4. *Апатия* – ничего не нужно.

Затем следуют сложные типы, комбинирующие в себе четыре первые элемента.

5. При равенстве первого и третьего ($1 = 3$) совершенство – Сократ.

6. При равенстве второго и четвертого ($2 = 4$) – тоже совершенство (т. е. гармония, удовлетворение) – тип *юродивый*.

7. Преобладание первого над третьим ($1 > 3$), но присутствие обоих – типы: *Меньшиков, Наполеон*.

8. Преобладание третьего над первым ($1 < 3$) – тип: *Апол. Григорьев* (критик), *Ф. Толстой* (художник).

9. Присутствие первого и четвертого с преобладанием первой над четвертым ($1 > 4$), т. е. ум без энергии, тип: *Дмитрий Ростовский*».

А вот интересная выписка из свидетельства современников иностранцев, характеристика Петра I.

«C'est un homme, d'un temperament violent, qui prend aisement feu et qui est brutal dans sa colere. Il augmente son ardeur naturelle en buvant beaucoup l'eau de vie. Il est sujet a des mouvements convulsifs par tout son corps et sa tete parait en etre affectee. Il ne manque pas de capacite et il a plus de connaissance, qu'on ne pourrait en attendre. Il parait etre destine plutot a etre charpentier, que grand prince. Il travaillait beaucoup lui meme et obligeait les autres. Il me dit, qu'il voulait etablir une grande flotte a Azoff et s'en servir centre les Turcs. Mais il ne me parait pas capable d'une telle entreprise, quoique plus tard...

Il entend peu ce qui concerne la guerre et a peu de curiosite a ce sujet».

Приводим здесь также для более полной характеристики

работ Л. Н-ча список источников, которыми он пользовался для этого романа:

Голиков, Гордон, Устрялов, Пекарский, Посошков, Бантыш-Каменский, Олеар, Кабсон, Ровинский, Бюрнет, Гопсен, Крейч, Адлерфельд, Забелин, Долгоруков, Попов, Складовский, Ушаков, Ямовский.

Эти имена очень часто попадают в заметках его записных книжек.

Все эти материалы показывают нам, как широка и глубока была задуманная им работа.

Тем с большим сожалением узнаем мы, что этому произведению не суждено было увидеть свет.

Л. Н-ч написал несколько начал, но всеми был недоволен и принужден был наконец оставить эту работу.

Он говорил: «Никак не могу живо восстановить в своем воображении эту эпоху, встречаю затруднения в незнании быта, мелочей в обстановке, и это тормозит мою работу».

С. А. Берс, гостивший в это время в Ясной Поляне, так рассказывает о причинах оставления Л. Н-чем этой работы:

«Летом 1873 года Лев Николаевич прекратил изучение этой эпохи. Он говорил, что мнение его о личности Петра диаметрально противоположно общему, и вся эта эпоха сделалась ему несимпатична. Он утверждал, что личность и деятельность Петра I не только не заключает в себе ничего великого, а напротив того, все качества его были дурные. Все так называемые реформы его отнюдь не преследовали государ-

ственной пользы, а клонились к личным его выгодам. Вследствие нерасположения к нему сословия бояр за его нововведения он основал город Петербург только для того, чтобы удалиться и быть, свободнее в своей безнравственной жизни. Сословие бояр имело тогда большое значение и, следовательно, было для него опасно. Нововведения и реформы почерпались из Саксонии, где законы были самые жестокие того времени, а свобода нравов процветала в высшей степени, что особенно нравилось Петру I. Этим объяснял Лев Николаевич и дружбу Петра I с курфюрстом саксонским, принадлежавшим к самым безнравственным личностям из числа коронованных особ того времени. Близость с пирожником Меньшиковым и беглым швейцарцем Лефортом он объяснял презрительным отвращением к Петру I всех бояр, среди которых он не мог найти себе друзей и товарищей для разгульной жизни. Но более всего он возмущался гибелью царевича Алексея».

Изучение петровской эпохи невольно перенесло внимание Л. Н-ча и на последующие события правления разных императриц и их временщиков, и Л. Н-ч задумал было написать роман «Мирович». Но намерение это осталось без исполнения. Неудовлетворение в изучении материалов петровской эпохи вызвало в Л. Н-че потребность иного приложения своих творческих сил. Вероятно, одновременно с планом художественно-исторической работы в нем возникал и сюжет бытовой. Легкого повода было достаточно, чтобы но-

вая работа увлекла его. Вот как рассказывают об этом, близкие Л. Н-чу люди:

В 1873 году, тихо слабея, кончала свой век любимая те-тушка Л. Н-ча, Татьяна Александровна Ергольская. Она ле-жала в своей комнате на диване, и старший сын Л. Н-ча, 10-летний Сергей, читал ей вслух повести Пушкина. Софья Ан-дреевна сидела тут же с работой. Старушка задремала, и чте-ние остановилось. Книга Пушкина лежала на столе, откры-тая на той странице, где начинается рассказ «Отрывок». В это время вошел в комнату Лев Николаевич. Увидав книгу, он взял ее и прочел начало «Отрывка»: *Гости съехались на дачу.*

«Вот как надо начинать, – сказал вслух Л. Н-ч. – Пуш-кин – наш учитель. Это сразу вводит читателя в интерес са-мого действия. Другой бы стал описывать гостей, комнаты, а Пушкин прямо приступает к делу».

Кто-то из присутствующих шутя предложил Льву Нико-лаевичу воспользоваться этим началом и написать роман.

Л. Н-ч удалился в свою комнату и тут же набросал нача-ло романа «Анна Каренина», которое в первом варианте на-чиналось так: «Все смешалось в доме Облонских», и потом уже Л. Н-ч приставил действительное начало романа, фразу, выражающую подмеченный им психологический закон: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастли-вая семья несчастлива по-своему».

Это произошло 19 марта 1873 года.

На другой день гр. С. А. писала своей сестре:

«Вчера Левочка вдруг начал неожиданно писать роман из современной жизни. Сюжет романа – неверная жена и вся драма, происшедшая от этого. Я этому рада».

Трагическая развязка романа, самоубийство Анны, имела своим прототипом истинное происшествие.

Гр. С. А. в письме к сестре от 18 января 1872 г. так описывает его:

«...Еще у нас в Ясенках случилась драматическая история. Ты помнишь у Бибикова Анну Степановну? вот эта А. Ст. ревновала к Бибикову всех гувернанток. Наконец, к последней она так ревновала, что Алекс. Никол. рассердился и поссорился с ней, следствием чего было то, что Анна Степановна уехала от него в Тулу совсем. Три дня она пропадала; наконец в Ясенках, на третий день, в 5 часов вечера она явилась на станцию с узелочком. Тут она дала ямщику письмо к Бибикову, просила его свезти и дала ему 1 руб. Письма Бибиков не принял, а когда ямщик вернулся опять на станцию, он узнал, что Анна Степановна бросилась под вагоны, и ее раздавил поезд до смерти. Конечно, она это сделала нарочно. Приезжали следователи и проч., и письмо это читали. В письме было написано: «Вы мой убийца; будьте счастливы с ней, если убийцы могут быть счастливы. Если хотите меня видеть, вы можете увидеть мое тело на рельсах в Ясенках...» Левочка с дядей К. ездили смотреть, как ее анатомировали. Случилось это около Крещенья».

Рядом с романом Анны и Вронского, идущим по закону «Мне отмщение, и аз воздам», контрастом ему служит идиллический роман Китти и Левина, в который Л. Н-ч вложил много автобиографического, и многие лица списаны с натуры, начиная с Агафьи Михайловны, действительно существовавшей под этим именем и только несколько лет тому назад умершей в Ясной Поляне, и кончая самим Левиным, психологический тип которого изображает нам самого автора, со всею его оригинальностью в мыслях, чувствах и действиях, а главное, с его душевной борьбой и исканием правды в народной вере.

Тип Анны по внешности напоминает госпожу Гартунг, дочь Пушкина; в большой баронессе и Вареньке можно узнать одну княгиню Голицыну с ее воспитанницей Катенькой. Также и другие лица, как Облонский, Кознышев и т. п., заключают в себе много черт, присущих родственникам и знакомым Л. Н-ча.

В описании брата Левина, Николая, особенно в описании его смерти, можно легко узнать брата Л. Н-ча, Дмитрия.

Многие мелкие эпизоды, как, напр., рассказ Вронского в театре о шалостях гвардейских офицеров, гнавшихся за одной дамой, также списаны с натуры.

Наконец, весной 1874 года Л. Н-ч повез начало своего романа печатать в Москву, в редакцию «Русского вестника».

Вероятно, Л. Н-ч еще много поправлял в корректуре, так как роман начал печататься только с января 1875 года. Он

печатался в четыре приема, в начале 1875, 1876 и 1877 годов (в первых четырех книжках каждого года), и затем 8-я часть с эпилогом вышла прямо отдельным изданием.

Такие большие перерывы происходили от многих причин. Во-первых, Л. Н-ч очень редко мог работать летом, а то, что он заготовлял за рабочую пору осени, только и хватало на четыре книги журнала. Во-вторых, как раз во время печатания «Анны Карениной» в 1874 и 1875 годах семью Толстых постиг целый ряд тяжелых страданий, смерть близких людей, как мы это увидим ниже, и наконец, в-третьих, потому что от писания романа Л. Н-ча отвлекали педагогические занятия, как мы видели выше.

С конца 1876 года писание пошло быстрее. Графиня пишет сестре в начале декабря 1876 года:

«Анну Каренину» мы пишем наконец-то по настоящему, т. е. не прерываясь. Левочка, оживленный и сосредоточенный, всякий день прибавляет по целой главе, я усиленно переписываю, и теперь даже под этим письмом лежат листки новой главы, которую он вчера написал. Катков телеграфировал третьего дня, умоляя прислать несколько глав для декабрьской книжки, и Левочка сам на днях повезет в Москву свой роман. Я думаю, что теперь в декабре напечатают, и потом пойдет так далее, пока кончится все».

При печатании же эпилога вышло печальное, или, вернее, счастливое недоразумение между Л. Н-чем и Катковым, которое и завершилось их разрывом.

В последней части, как известно, Толстой, кроме изображения внутреннего переворота, совершившегося в Левине, рассказывает еще о дальнейшей судьбе несчастного Вронского, в отчаянии отправившегося добровольцем в Сербию с целым отрядом кавалерии, сформированным на его счет. В глазах тогдашнего общества это был геройский, благородный поступок. Но в романе Л. Н-ча Левин, главный герой, относится с осуждением к этому добровольческому движению и даже с некоторой насмешкой, в которой выражается взгляд Толстого на добровольческое движение как на одно из постоянно сменяющихся модных увлечений праздного так называемого высшего общества.

Катков, редактор «Русского вестника» и «Московских ведомостей», напротив, всеми имевшимися в его руках средствами раздувал это движение и старался втянуть Россию в войну с Турцией.

На этой почве у Толстого произошло столкновение с Катковым, и они окончательно разошлись.

22 мая 1877 года Л. Н-ч писал Страхову:

«Нынче получил ваше второе неотвеченное письмо и устыдился. Я мешкал писать вам и потому, что был занят писаньем, – и главное потому, что не хотелось ничего говорить вам, пока вы не прочитаете последнюю часть. Она набрана давно и два раза уже была мною поправлена, и на днях мне ее пришлют для окончательного пересмотра. Но я боюсь, что она все-таки не выйдет скоро. И об этом хочу с вами посо-

ветоваться и просить вашей помощи. Оказывается, что Катков не разделяет моих взглядов, что и не может быть иначе, так как я осуждаю именно таких людей, как он, и, мямля, учтиво прося смягчить то, выпустить это, ужасно мне надоел, и я им уже заявил, что если они не напечатают в таком виде, как я хочу, то вовсе не напечатаю у них, и так и сделаю; но хотя и удобнее всего было бы напечатать брошюрой и продавать отдельно, неудобство в том, что надо пропустить сквозь цензуру. Как вы посоветуете, отдельно с цензурой или в какой-нибудь бесцензурный журнал – «Вестник Европы», «Нива», «Странник», мне все равно, только бы хотелось напечатать как можно скорее и не разговаривать про смягчения и выпущения. Но, пожалуйста, посоветуйте и помогите. Может быть, я еще улажусь с Катковым, но очень бы хотелось узнать, что делать в случае несогласия».

Следуя совету Н. Н. Страхова. Л. Н-ч решил выпустить 8-ю часть отдельной брошюрой, так как с Катковым у него дело окончательно разладилось.

Редакция же «Русского вестника» вместо откровенного заявления о том, что вследствие разницы ее взглядов и взглядов автора, выраженных в 8-й части романа, эта часть не может появиться в журнале, напечатала следующую краткую заметку, воспользовавшись тем, что рукопись побывала в редакции, и этою заметкою постаралась удовлетворить своих недоумевавших подписчиков.

Вот эта заметка, появившаяся в майской книжке 1877 г.

«Русского вестника»:

«От редакции. В предыдущей книжке под романом «Анна Каренина» выставлено: «окончание следует». Но со смертью героини, собственно, роман кончился. По плану автора следовал бы еще небольшой эпилог, листа в два, из коего читатели могли бы узнать, что Вронский, в смущении и горе после смерти Анны, отправляется добровольцем в Сербию, и что все прочие живы и здоровы, а Левин остается в своей деревне и сердится на славянские комитеты и на добровольцев. Автор, быть может, разовьет эти главы к особому изданию своего романа».

Принимая во внимание издательские нравы, этот поступок, конечно, нельзя назвать корректным, почему он и вызвал справедливое возмущение как самого Л. Н-ча, так и близких ему людей.

Появление «Анны Карениной» можно считать крупным литературно-общественным событием, и мы надеемся показать его значение и отношение к нему общества, сделав краткий обзор более выдающихся критических отзывов.

Глава 10. Обзор критической литературы об «Анне Карениной»

Следуя порядку, принятому нами при обозрении критической литературы о «Войне и мире», мы рассмотрим сначала отзывы друзей Л. Н-ча, которым, собственно говоря, он только и придавал значение. Такими литературными друзьями его в это время были Фет и Страхов. Хотя самих отзывов друзей мы не можем привести за неимением их, но характер их виден из ответных писем Л. Н-ча, находящихся в нашем распоряжении.

Фет, вероятно, еще в корректуре в редакции «Русского вестника» прочел начало «Анны Карениной» и сообщил свое мнение Л. Н-чу, который отвечал ему так в марте 1874 года:

«Вы хвалите «Каренину», мне это очень приятно, да и как я слышу, ее хвалят; но, наверно, никогда не было писателя, столь равнодушного к своему успеху, как я. С одной стороны, школьные дела, с другой – странное дело – сюжет нового писания, овладевший мною именно в самое тяжелое время болезни ребенка, и самая эта болезнь и смерть...»

Мы полагаем, что Л. Н-ч совершенно искренно писал эти слова, т. е. что он действительно мало придавал значения этому произведению, и мы вернемся еще к этому вопросу при общей оценке «Анны Карениной».

По выходе всей «Анны Карениной», в 1877 году, Фет написал критическую статью под псевдонимом Болгова и послал ее Л. Н-чу, которому она очень понравилась. Вот что пишет Л. Н-ч Фету об этой статье 2 сентября того же года:

«Как мало на свете настоящих умных людей, дорогой Афанасий Афанасьевич! Появился было г-н Болгов, и как я обрадовался ему, но и тот сейчас же обратился в вас. Можно не узнать произведение ума, к которому равнодушен, но произведение ума любимого, выдающее себя за чужое, так же смешно и странно видеть, как если бы я приехал к вам судиться и, глядя на вас во все глаза, уверял бы, что я адвокат Петров. Не могу хвалить вашей статьи, потому что она хвалит меня, но я вполне согласен с нею, и мне радостно было читать анализ своих мыслей, при котором все мои мысли, взгляды, сочувствия, затаенные стремления поняты верно и поставлены все на настоящее место. Мне бы очень хотелось, чтобы она была напечатана, хотя я, обращая к вам то, что вы говорили мне, знаю, что почти никто не поймет ее».

Н. Н. Страхов после каждого выхода частей «Анны Карениной», прочитав их, писал Л. Н-чу свое впечатление, которое Л. Н-ч очень ценил. По этому поводу возникла между ними целая переписка. К сожалению, у нас нет писем Страхова, но из писем Л. Н-ча мы можем привести некоторые, наиболее интересные.

В письме от 9 апреля 1876 г. Л. Н-ч высказывает свое отношение к критике вообще:

«Благодарю вас, дорогой Николай Николаевич, за присылку Григорьева. Я прочел предисловие Григорьева, но – не рассердитесь на меня – чувствую, что, посаженный в темницу, никогда не прочту всего. Не потому, что не ценю Григорьева, напротив, но критика для меня скучнее всего, что только есть скучного на свете. В критике искусства все правда, а искусство потому только искусство, что оно все. Я со страхом чувствую, что перехожу на летнее состояние: мне противно то, что я написал, и теперь у меня лежат корректуры на апрельскую книжку, и боюсь, что не буду в силах поправить их. Все в них скверно, и все надо переделать, все, что напечатано, и все перемарать, и бросить, и отречься, и сказать: виноват, вперед не буду, и постараться написать что-нибудь новое и уж не такое нескладное и ни то ни семное. Вот в какое я прихожу состояние, и это очень неприятно... И не хвалите мой роман. Паскаль завел себе пояс с гвоздями, который он пожимал всякий раз, как чувствовал, что похвала его радует. Мне надо завести такой пояс. – Покажете мне искреннюю дружбу: или ничего не пишете про мой роман, или напишите мне только все, что в нем дурно. И если правда то, что я подозреваю, что я слабею, то, пожалуйста, пишете мне. Мерзкая наша писательская должность – развращающая. У каждого писателя есть своя атмосфера хвалителей, которую он осторожно носит вокруг себя и не может иметь понятия о своем значении и о времени упадка. Мне бы хотелось не заблуждаться и не развращаться дальше. По-

жалуйста, помогите мне в этом. И не стесняйтесь только, что вы строгим осуждением можете помешать деятельности человека, имевшего талант. Гораздо лучше будет остановиться на «Войне и мире», чем писать «Часы» или т. п.»

В следующем письме Лев Николаевич дает свое новое определение искусства:

26 апреля 1876 года. Ясная.

«У нас с вами раздвоилась переписка, дорогой Николай Николаевич, я только что ответил на ваше философское письмо, как получил радостный ответ на мое. – Вы пишете: так ли вы понимаете мой роман и что я думаю о ваших суждениях, разумеется, так. Разумеется, мне невыразимо радостно ваше понимание, но не все обязаны понимать так, как вы. Может быть, вы только охотник до этих делов, как и я, как и наши тульские голубятники. Он турмана ценит очень дорого, но есть ли настоящие достоинства в этом турмане – вопрос. Кроме того, вы знаете – наш брат беспрестанно без переходов прыгает от уныния и самоуничужения к непомерной гордости. Это я к тому говорю, что ваше суждение о моем романе верно, но не на все, т. е. все верно, но то, что вы сказали, выражает не все, что я хотел сказать. Например, вы говорите о двух сортах людей. Это я чувствую – знаю, но этого я не имел в виду; но когда вы говорите, я знаю, что это одна из правд, которую можно сказать. Если же бы я хотел сказать словами все то, что имел в виду выразить романом,

то я должен бы был написать роман тот самый, который я написал сначала. И если критики теперь уже понимают и в фельетоне могут выразить то, что я хочу сказать, то я их поздравляю и смело могу уверить *qu'il en savent plus long, que moi*. Очень, очень благодарю вас. Когда я прочел свое унылое и смиренное письмо и понял, что я, в сущности, прошу похвалы, и вы мне ее прислали. Хотя ваша похвала, я знаю, искренняя, хотя признаюсь – охотничья – мне очень дорога. То, что я сделал ошибки в венчании, мне очень обидно, тем более, что я люблю эту главу. Боюсь, не будет ли тоже ошибок по специальности, которой я касаюсь в том, что выйдет теперь, в апреле. Пожалуйста, напишите, если найдете или другие найдут. Вы правы, что «Война и мир» растет в моих глазах. Мне странно и радостно, когда мне кто-нибудь напомнит из нее, как это сделал недавно Истомин (он будет у вас); но странно, я помню из нее очень немного мест, остальное забываю.

И если близорукие критики думают, что я хотел описывать только то, что мне нравится, как обедает Облонский и какие плечи у Карениной, то они ошибаются. Во всем, почти во всем, что я писал, мною руководила потребность собирания мыслей, сцепленных между собой для выражения себя; но каждая мысль, выраженная словами особо, теряет свой смысл, страшно понижается, когда берется одна и без того сцепления, в котором она находится. Само же сцепление составлено не мыслью (я думаю), а чем-то другим, и выразить

основу этого сцепления непосредственно словами нельзя, а можно только посредственно – словами, описывая образы действия, положения. Вы все это знаете лучше меня, но меня занимало это последнее время. Одно из очевиднейших доказательств этого было для меня самоубийство Вронского, которое вам понравилось. Этого никогда со мной так ясно не бывало. Глава о том, как Вронский принял свою роль после свидания с мужем, была у меня давно написана. Я стал поправлять, и совершенно для меня неожиданно, но несомненно Вронский стал стреляться. Теперь же для дальнейшего оказывается, что это было органически необходимо. – Так вот почему такая милая умница, как Григорьев, для меня малоинтересен; правда, что если бы не было совсем критики, то тогда бы Григорьев и вы, понимающие искусство, были бы излишни. Теперь же правда, что когда 9/10 всего печатного есть критика искусства, нужны люди, которые бы показывали бессмыслицу отыскивания отдельных мыслей в художественном произведении и постоянно руководили бы читателей в том бесконечном лабиринте сцеплений, в котором и состоит сущность искусства, и по тем законам, которые служат основанием этих сцеплений. Написал вам это письмо уже несколько дней тому назад и хотел не посылать – так в нем и выпирает польщенное авторское тщеславие. Но написал 7 писем сейчас, и надо писать вам новое, и решил послать это. Шила в метке не утаишь, и вы меня знаете насквозь.

Лев Толстой».

Столь же интересные мысли высказывает Л. Н-ч и еще в одном письме и попутно жалеет Тургенева, об ослаблении художественной деятельности которого до него дошли слухи.

«Успех последнего отрывка «Анны Карениной», признаюсь, порадовал меня. Я никак этого не ожидал и, право, удивляюсь и тому, что такое обыкновенное и ничтожное нравится, и еще больше тому, что, убедившись, что такое ничтожное нравится, я не начинаю писать сплеча, что попало, а делаю какой-то, мне самому почти непонятный выбор. Это я пишу искренно, потому что вам, и тем более, что, послав на январскую книжку корректуры, я запнулся на февральской книжке и мысленно только выбираюсь из этого запнутия. Тургенева я не читал, но искренно жалею, судя по всему, что слышал, что этот ключ чистой и прекрасной воды засорился такой дрянью. Если бы он просто вспомнил какой-нибудь свой день подробно и описал бы его, все бы пришли в восхищение. Как ни пошло это говорить, но во всем в жизни, в особенности в искусстве, нужно только одно отрицательное качество – не лгать. В жизни ложь гадка, но она не уничтожает ее гадостью, под ней все-таки правда жизни, потому что чего-нибудь всегда кому-нибудь хочется, от чего-нибудь больно и радостно, но в искусстве ложь совершенно уничтожает всю связь между явлениями, порошком все рассыпает-

ся».

Приведем отзывы И. С. Тургенева. Они не вполне благоприятны. Мы не можем причислить Тургенева к числу литературных друзей Л. Н-ча, так как именно в период писания Л. Н-чем «Анны Карениной» они были очень далеки друг от друга. Но тем не менее этот отзыв носит весьма интимный характер, мы заимствуем его из частных писем и потому выделяем из общего обзора критической литературы.

В письме к Суворину от 14 марта 1875 года Тургенев, между прочим, пишет:

«С нетерпением жду первого выпуска ваших очерков. Портрет Л. Н. Толстого (литературный) выйдет у вас наверно хорошо. Талант из ряду вон, но в «Анне Карениной» он, как здесь говорят, a fait fausse route, влияние Москвы, славянофильского дворянства, старых православных дев, собственного уединения и отсутствия настоящей художественной свободы».

Подобным же образом он выражается в своем письме к поэту Полонскому:

«Анна Каренина» мне не нравится, хотя попадаются истинно великолепные страницы (скачка, косьба, охота). Но все это кисло, пахнет Москвой, ладаном и старой девой, славянщиной, дворянщиной и т. д.»

В этом отзыве сказывается недоброжелательное отношение Тургенева как «западника» ко всему, что имело связь с «Москвой» и в чем он подозревал славянофильские тенден-

ции. На самом деле Л. Н-ч никогда не был славянофилом и часто очень отрицательно высказывался против славянофильства, что мы и увидим ниже.

Переходим теперь к краткому обзору профессиональных критических отзывов об «Анне Карениной», составляющих уже многотомную литературу, которую мы должны разбить на группы, чтобы быть в состоянии ориентироваться в ней; причем мы постараемся дать некоторые образцы крайних, характерных отзывов, чтобы возможно было составить себе суждение о том впечатлении, которое произвела «Анна Каренина» на различные круги русского общества. Мы напомним здесь то, что говорили про обзор критической литературы о «Войне и мире», что цель наша – не критика «Анны Карениной» и не ответ критикам этого произведения, наша частная цель, вытекающая из общей биографической, – это изображение отношения общества к Л. Н-чу, суждение о том, как реагировало общество на факт такого большого значения в жизни Л. Н-ча, как написание им второго большого романа. Как и следовало ожидать, общество ответило подчеркиванием тех партийных, сословных отношений, которые ничего не имеют общего как с критикой вообще, так и с романом в особенности. Так, дворянская аристократическая партия обрадовалась и стала восхищаться романом, потому что в нем по преимуществу изображены лица высшего общества. Славянофилы обрадовались тому, что, как говорил Тургенев, роман «пахнет славянофильством». Либе-

рально-радикальная партия именно за это и озлобилась на роман и забросала его грязью или едва удостоила насмешливого, презрительного отзыва. Но истинное произведение искусства, каким было и останется это замечательное произведение, конечно, от этого не пострадало. Одним из неблагоприятных обстоятельств для серьезной критики было то, что роман печатался очень долго, с большими перерывами. Критика и публика были утомлены. Критические статьи писались после выхода каждой порции романа, делались всевозможные догадки и большею частью неверные предположения; читатели и критики иногда теряли терпение и выражали это самым странным образом.

Так, критик Скабичевский («Заурядный читатель») заподозрил Л. Н-ча в сговоре с издателем «Русского вестника» и пишущим для того, чтобы заполнить чем-нибудь его журнал и получить побольше гонорара.

Тем не менее интерес, возбужденный в обществе этим романом, был огромный. Говорят, что, московские дамы засылали своих агентов в университетскую типографию, где печатался роман, чтобы выведать у наборщиков о дальнейшей судьбе героев романа.

Как и в главе о «Войне и мире», мы ограничимся современными роману критиками.

К числу положительных критиков «Анны Карениной» мы относим, во-первых, Соловьева, писавшего в «С.-Петербургских ведомостях» того времени фельетоны за подписью

«Sine ira», которого поражает художественная простота этого произведения.

Затем В. В. Чуйко в «Голосе» делает удачное сравнение таланта Л. Н. Толстого с талантом Стендаля (Бейля). Вот это сравнение:

«В этом отношении он может быть сравниваем только с другим великим психологом-беллетристом – Генрихом Бейлем (Стендалем). Предмет их исследования один и тот же, оба они одинаково глубоко заглядывают в тайники души, оба одинаково оригинальны, до такой степени оригинальны, что кажутся эксцентричны и парадоксальны, оба не любят протоптанных дорожек в искусстве, оба открывают новые области художественного анализа, у обоих, кроме таланта, громадная теоретическая подкладка систематического знания, потому-то оба они так мало похожи на большинство беллетристов нашего времени, которые до сих пор не могут порешить с рутинными приемами и рутинными взглядами. У Бейля теория и точное знание перевешивали над творчеством, у графа же Толстого наоборот, и что бы там ни говорили, он не только мыслитель, сколько художник, у него на первом плане творчество, как и у Достоевского, но творчество, сдержанное в пределах всегда присутствующей строго мыслию, не расплывающееся в неясных образах и болезненных влечениях. Творчество Бейля – чисто теоретическое, искусственное; из одного первичного психологического предрасположения он строит весь характер, и если этот характер

кажется живым, то только благодаря необыкновенной логике, с которою Бейль развивает последовательно из этого одного общего предрасположения все неизбежности, определяемые жизнью и положением. У гр. Л. Толстого на первом плане жизнь и люди, он любит эту жизнь и этих людей со всею страстью и впечатлительностью художника, его творчество – не теоретический процесс, а сама жизнь, как она отражается в его мысли. Но никогда мысль не дремлет, и потому нет-нет и вдруг встречается коротенькая, кажется, пустая фраза, которая освещает характер с совершенно новой стороны, указывает на такую психологическую особенность, которая могла бы быть подмечена только теоретическою мыслью. В этом граф Л. Толстой – неподражаемый мастер, и даже европейские литераторы мало могут представить действительно великих художников, которые равнялись бы ему в этом отношении».

Этот критический отзыв интересен тем, что критик признал родственность таланта Стендаля и Толстого. Как мы увидим ниже, Стендаль очень нравился Толстому и, вероятно, имел некоторое влияние на его творчество.

Первый из упоминаемых нами критиков. Б. С. Соловьев, разочаровывается в романе после следующих глав и ставит в упрек Л. Н-чу пошлость изображаемых им типов.

Что касается до В. Чуйко, то он и при дальнейших выпусках романа остается верен себе и защищает Л. Н-ча от нападок других критиков, ставя им на вид, что они недостаточно

оценили реализм изображения и недостатки, присущие типам, приписали самому Толстому. Только по выходе 8-н части В. Чуйко не выдержал своей роли и напал на Л. Н-ча за низменность идеалов Левина.

Мы не приводим здесь слишком восторженных отзывов Авсеенко, подчеркивающего аристократическую тенденцию романа, которой, по нашему мнению, вовсе не существует. По этому поводу интересно припомнить слова Н. К. Михайловского, защищавшего Л. Н-ча от так называемых им «пещерных людей», т. е. консервативных критиков, старавшихся из всех сил сопричислить Л. Н-ча к числу «своих».

«Эти несчастные не подозревают, что то, что им нравится в гр. Толстом, есть только его шуйца, печальное уклонение, невольная дань культурному обществу, к которому он принадлежит. Они бы рады были из него левшу сделать, тогда как он, я думаю, был бы счастлив, если бы родился без шуйцы. Повторяю, я только предполагаю, что и гр. Толстому должно быть обидно слышать похвалы пещерных людей, которые (похвалы) относятся только к его шуйце. Но мне лично всегда бывает обидно за гр. Толстого, когда я вижу усилия, и небезуспешные, пещерных людей замарать его своим нравственным соседством. Обидно не потому, что я сам желал бы стоять рядом с гр. Толстым, хотя, разумеется, и это привлекательно, но потому что, марая его своим нечистым прикосновением, они отняли у общества чуть не всю его десницу. Почему читающей публике решительно неиз-

вестны истинные воззрения гр. Толстого? Отчего они не коснулись общественного сознания? Много есть тому причин, но одна из них, несомненно, есть нравственное соседство пещерных людей, холопски, т. е. с разными привираниями и умолчаниями, лобызающих шуйцу гр. Толстого. Я на себе испытал это. Я поздно познакомился с идеями гр. Толстого, потому что меня отгоняли пещерные люди, и был поражен, увидав, что у него нет с ними ничего общего».

Странным кажется переходить от этих если не восторженных, то вполне уважительных критик к тем диким выходкам, от которых не могла удержаться партия озлобленных. Приведем некоторые выдержки хотя для курьеза.

Один из критиков насмешливо замечает, что «Анна Каренина» «имеет претензию на звание бытового романа, но претензии эти более чем смешны. Какая из выведенных личностей может быть названа живой, типичной, имеющей своего представителя в действительной жизни?»

И на все эти вопросы насмешливый критик отвечает отрицательно, как будто он живет на луне и никогда в жизни не видал живых людей.

Ужасно сердится на Л. Н-ча Скабичевский. Он утверждает, что весь роман пропитан «идиллическим запахом детских пеленок». Сцену падения Анны называет «мелодраматической дребеденю в духе старых французских романов, расточаемой по поводу заурядных амуров великосветского хлыща и петербургской чиновницы, любительницы аксель-

бантов».

В дальнейших статьях своих тот же критик, возмущающийся скабрёзностью и пошлостью описываемых сцен, иронически упрекает Л. Н-ча Толстого в том, что он не дал описания того, что Анна берет ванну, а Вронский моется в бане.

И все это несчастные читатели должны были проглотить под видом критики.

Но критик радикального журнала «Дело» П. Ткачев идет еще далее. Разбирая и уничтожая целый ряд произведений Л. Н-ча, он находит, что основная идея «Войны и мира» такова: цель жизни и значение жизни каждого человека должны заключаться в узком эгоистическом услаждении себя половыми отношениями и в их венце – семейном счастье, понимаемом притом в самом грубом и почти циническом смысле.

Затем этот скромный критик, как бы пародируя стиль Л. Н-ча, предлагает ему написать новый роман, изображающий любовь Левина к его корове Паве, ревность Китти и т. д.

Кажется, этого довольно.

Из более серьезных отрицательных критиков мы назовем Станкевича, поместившего обстоятельный критический этюд в «Вестнике Европы». Главный недостаток этого этюда – это его почти сплошной насмешливый издевательский тон, особенно по отношению к Левину, так мешающий видеть, быть может, и заключающиеся в этом этюде серьезные мысли.

Приведем теперь мнение об «Анне Карениной» единственного, по нашему мнению, русского человека, которого можно поставить рядом со Л. Н-чем Толстым. Мнение его по этому самому уже приобретает огромную ценность. Мы говорим о Федоре Михайловиче Достоевском. Эти люди не знали лично друг друга, но всегда высказывали взаимное уважение. Здесь мы не считаем удобным делать какое-либо сближение или сравнение их. Это вопрос слишком важный, требующий специального времени и места для его изучения и изложения. Скажем только, что, по нашему глубокому убеждению, несмотря на внешнюю бросающуюся в глаза разницу таланта, характера, среды, карьеры и прочих условий жизни, эти два русских человека во многих самых главных жизненных пунктах бесконечно близки друг к другу.

Эта близость их выразилась и в понимании Достоевским «Анны Карениной». По какой-то странной психической аберрации этот великий ум и великое сердце, этот служитель Вечного был увлечен временными политическими событиями конца 70-х годов и защищал необходимость и благодетельность восточной войны. И вот только с этой точки зрения, которой касается и Л. Н-ч в конце романа, Достоевский не соглашается с ним. Но, относясь критически к тому, что Левин осуждает добровольческое движение, Достоевский, по своей высшей добросовестности, предпосылает этой критике такую замечательную оценку романа:

«Анна Каренина» есть совершенство как художественное произведение, подвернувшееся как раз кстати и такое, с которым ничто подобное из европейских литератур в настоящую эпоху не может сравниться, а во-вторых, и по идее своей это уже нечто наше, свое, родное, и именно то самое, что составляет нашу особенность перед европейским миром, что составляет уже наше национальное «новое слово» или, по крайней мере, начало его, – такое слово, которого именно не слышать в Европе и которое, однако, столь необходимо ей, несмотря на всю ее гордость. Я не могу пуститься здесь в литературную критику и скажу лишь небольшое слово. В «Анне Карениной» проведен взгляд на виновность и преступность человеческую. Взятые люди в ненормальных условиях. Зло существует прежде них. Захваченные в круговорот лжи, люди совершают преступление и гибнут неотразимо: как видно, мысль на любимейшую и стариннейшую из европейских тем. Но как, однако же, решается такой вопрос в Европе? Решается он там повсеместно двояким образом. Первое решение: закон дан, написан, формулирован, составлялся тысячелетиями. Зло и добро определено, взвешено, размеры и степени определялись исторически мудрецами человечества, неустанной работой над душой человека и высшей научной разработкой над степенью единительной силы человечества в общежитии. Этому выработанному кодексу повелевается следовать слепо. Кто не последует, кто преступит его, тот платит свободой, имуществом, жизнью, платит бук-

важно и бесчеловечно. «Я знаю, – говорит сама их цивилизация, – что это и слепо, и бесчеловечно, и невозможно, так как нельзя выработать окончательную форму человечества в середине пути его, но так как другого исхода нет, то и следует держаться того, что написано, и держаться буквально и бесчеловечно, не будь этого, будет хуже». С тем вместе, несмотря на всю ненормальность и нелепость устройства того, что называем мы нашей великой европейской цивилизацией, тем не менее пусть силы человеческого духа пребывают здравы и невредимы, пусть общество не колеблется в вере, что оно идет к совершенству, пусть не смеет думать, что затемнился идеал прекрасного и высокого и что извращается и коверкается понятие о добре и зле, что нормальность непрерывно сменяется условностью, что простота и естественность гибнут, подавляемые непрерывно накапливающейся ложью. Другое решение обратное: так как общество устроено ненормально, то и нельзя спрашивать ответа с единиц людских за последствия. Стало быть, преступник безответствен, и преступления пока не существует. Чтобы покончить с преступлениями и людскою виновностью, надо покончить с ненормальностью общества и склада его. Так как лечить существующий порядок вещей долго и безнадежно, да и лекарств не оказалось, то следует разрушить все общество и смести старый порядок как бы метлой. Затем начать все новое, на иных началах, еще неизвестных, но которые все же не могут быть хуже теперешнего порядка, напротив, заклю-

чают в себе много шансов успеха. Главная надежда на науку. Итак, вот это второе решение: ждут будущего муравейника, а пока зальют мир кровью. Других решений о виновности и преступности людской западноевропейский мир не представляет.

Во взгляде же русского автора на виновность и преступность людей ясно усматривается, что никакой муравейник, никакое торжество «четвертого сословия», никакое уничтожение бедности, никакая организация труда не спасут человечество от ненормальности, а следовательно, и от виновности и преступности. Выражено это к огромной психологической разработке души человеческой со страшной глубиной и силой, с небывалым доселе у нас реализмом художественного изображения. Ясно и понятно до очевидности, что таится зло в человечестве глубже, чем предполагают лекаря-социалисты, что ни в каком устройстве общества не избегнете зла, что душа человеческая останется та же, что ненормальность и грех исходят из нее самой и что, наконец, законы духа человеческого столь еще неизвестны, столь неведомы науке, столь неопределенны и столь таинственны, что нет и не может быть еще ни лекарей, ни даже судей окончательных, а есть тот, который говорит: «мне отмщение, и аз воздам». Ему одному лишь известна вся тайна мира сего и окончательная судьба человека. Человек же пока не может браться решать ничего с гордостью своей непогрешимости, не пришли еще времена и сроки. Сам судья человеческий должен

знать о себе, что он грешен сам, что весы и мера в руках его будут нелепостью, если сам он, держа в руках меру и весы, не преклонится перед законом неразрешимой еще тайны и не прибегнет к единственному выходу – к Милосердию и Любви. А чтобы не погибнуть в отчаянии от непонимания путей и судеб своих, от убеждения в таинственной и роковой неизбежности зла, человеку именно указан выход. Он гениально намечен поэтому в гениальной сцене романа, в предпоследней части его, в сцене смертельной болезни героини романа, когда преступники и враги преобразуются в существа высшие, в братьев, все простивших друг другу, в существа, которые сами взаимным всепрощением сняли с себя ложь, вину и преступность и тем разом сами оправдали себя с полным сознанием, что получили право на то. Но потом, в конце романа в мрачной и страшной картине падения человеческого духа, прослеженного шаг за шагом, в изображении того неотразимого состояния, когда зло, овладев существом человека, связывает каждое движение его, парализует всякую силу сопротивления, всякую мысль, всякую охоту борьбы с мраком, падающим на душу вместо света, – в этой картине столько назидания для судьбы человеческого и для держащего меру и вес, что, конечно, он воскликнет в страхе и недоумении: «нет, не всегда мне отмщение и не всегда аз воздам», и не поставит бесчеловечно в вину мрачно павшему преступнику того, что он пренебрег указанным вековечно светом исхода и уже сознательно отверг его».

Из более поздних критик упомянем о прекрасном этюде Громеки и, наконец, о недавних статьях Овсяннико-Куликовского, основательность которых портит узкая, партийная точка зрения – классовая борьба.

В своем интересном разборе «Анны Карениной» Овсяннико-Куликовский по-прежнему рассматривает Л. Н-ча как изобразителя великосветского типа, и типы «Анны Карениной» считает продолжением типов «Войны и мира» и даже героев предшествующих повестей. Вот как выражает он эту мысль:

«Вспомним, что в отношении к великосветской среде Толстой (приблизительно до 80-х годов) не был посторонним наблюдателем, он принадлежал к ней по рождению и воспитанию, он ее изучил не столько как наблюдатель, сколько как самонаблюдатель, и, начиная с повестей «Детство», «Отрочество» и «Юность», его изображения этой среды были как бы род исповеди, попыткою вытравить из своей души известные черты великосветской психологии, отделаться от них с помощью их претворения в художественные образы, наподобие того как Лермонтов от своего «Демона» отделался стихами. После создания «Войны и мира» Толстой еще чувствовал или сознавал, что еще не вполне отделался от «великосветского человека». Эта задача и была довершена романом «Анна Каренина». Вот в каком смысле это произведение примыкает ко всей предшествующей деятельности Толстого и завершает целую эпоху в ней».

И более специально о Левине он говорит в том же очерке:

«...Левин блистательно заканчивает эту художественную автобиографию, эту историю внутреннего развития Толстого, историю его стремлений выйти из тисков великосветской жизни и создать себе независимую от нее душевную жизнь на основах широких общечеловеческих идеалов».

В общем, прочитав целый ряд критических статей об «Анне Карениной», мы приходим к заключению, что роман этот не понят, не оценен во всем его объеме, во всей его глубине тех основных вопросов человеческой жизни, которых касается автор (за исключением Достоевского). Критика занялась более внешней стороной его – фабулой, а не идеей. Постараемся, насколько это возможно по имеющимся у нас данным, указать на основную идею этого произведения и определить ее место в общем развитии духовной личности Л. Н-ча.

Если в «Войне и мире» Л. Н-ч изображает нам картину европейского человечества в его стихийных движениях и затем дает типы того времени в детальной разработке, из которых каждый является как бы родовым понятием, то в «Анне Карениной» художник дает нам уже картину частной группы людей как бы случайных, со всеми их семейными дрязгами. Если, читая «Войну и мир», вы чувствуете себя как бы на возвышенности, созерцающим величественную панораму, на которой искусной рукой художника перед вами в дивной пропорции проходят и несметные полчища, и отдельные

лица, дорогие для вас, с глубокой психической жизнью, но тем не менее как бы подернутые облаком прошедшего, то в «Анне Карениной» вы чувствуете перед собой семейный очаг, великосветский салон, крестьянскую избу со всеми ее мельчайшими подробностями прямо перед глазами, и люди, изображенные на этой картине, – люди, сейчас с вами живущие (события в романе доведены до самого последнего дня текущей эпохи), и поэтому вся сила автора ушла, так сказать, в глубину, в разработку тех душевных движений человеческих, из которых слагается жизнь каждого человека, а стало быть и всего человечества.

Вот что касается внешней стороны романа. Из краткого исторического очерка написания романа, который мы предпослали настоящему обзору, читатели знают, что «Анна Каренина» начата Л. Н-чем как бы неожиданно, по какому-то незначительному внешнему поводу. Разумеется, причины лежали гораздо глубже. Из того же очерка мы знаем, что Л. Н-ч долго работал над историческими материалами, имея намерение написать исторический роман из эпохи Петра I. Если бы это случилось, мы опять увидали бы себя на возвышенном месте, созерцающими, быть может, еще более грандиозную панораму, так как самый пейзаж был бы еще отдаленнее и поле зрения захватывало бы еще большее пространство. Но изучение эпохи не удовлетворило Л. Н-ча, и мы полагаем, что усилие, которое нужно было сделать Л. Н-чу для воспроизведения в своем воображении эпохи того време-

ни с его добросовестностью, утомило его, и «Анна Каренина» явилась реакцией, отдыхом на современном и близком ему сюжете. Случайно подхваченная фабула – трагическая смерть женщины, бросившейся под поезд, пустота и изменчивость интересов хорошо знакомой ему светской среды и, наконец, идиллические картины своей собственной семейной жизни и жизни людей его круга с вплетающейся в нее жизнь народа – вот тот материал, та глина, из которой лепил Д. Н-ч свои образы. Но кроме всего этого, он жил, как всегда, всей своей сильной животной и духовной природой, и вот момент этой жизни наложил особый отпечаток и дал особое направление всему его произведению.

Он почувствовал потребность вложить в это произведение кусочек истории своей души и для этого взял тип Левина и заставил его перед читателями пережить все свои душевные муки и выбраться на путь света, куда он и сам пришел еще с большей, в действительности, работой, с большими страданиями и с более широким сознанием ослепившего его света истины.

В изображении типа Левина поразительно много автобиографических черт. Прочтите ту главу, где появляется Левин в Москве. Характеристика, даваемая ему автором, есть характеристика Л. Н-ча, и в дальнейшем в романе разбросана масса автобиографических черт. Читатели 1-го тома биографии могут узнать в Агафье Михайловне живое лицо, горничную Гашу бабушки Л. Н-ча. Ясная Поляна со многими по-

дробностями изображена в романе. Женитьба и первое время семейной жизни, конечно, также во многом списаны с натуры.

Но не следует все-таки смешивать художественного вымысла с реальными фактами, и потому нельзя до конца проводить эти параллели. И Левин все-таки не есть Толстой. Это тип сродный, симпатичный ему. Обращение Левина, написанное в конце 76-го и начале 77-го года, не есть обращение Л. Н-ча.

Но здесь пророк-художник предсказал сам себе свое будущее и несколькими яркими штрихами набросал те пути, по которым повел его дальше пытливый, непримиримый, но всепримиряющий разум.

В «Анне Карениной» мы видим две преобладающие идеи. Одна, общая, так хорошо понятая Достоевским, выражена эпиграфом романа «Мне отмщение, и аз воздам» и выражает мысль о непреложности высшего, нравственного закона, преступление против которого неминуемо ведет к гибели, но судьей этого преступления и преступника не может быть человек.

И вот эта отрицательная, общая идея незаметно, художественным путем сцепляется и переходит в идею положительную, хотя столь общую по существу, но выраженную более частным, субъективным образом, идею о том, что человек, сознательно живущий, должен поставить себе цель жизни вне своего личного я, в служении богу, в жизни для ду-

ши. Иначе ему предстоит неизбежная гибель самоуничтожения как логической нелепости, не имеющей для своего существования никакой разумной причины и потому уничтожающейся.

Нетрудно видеть, что в этой идее изображен, так сказать, один из эпизодов той великой драмы, которую пережил автор и из которой, как мы знаем, вышел торжествующим, просветленным.

Подробный анализ этой драмы составит предмет следующей части, а в последних главах этой части мы постараемся в беглом очерке дать картину личной и семейной жизни Л. Н-ча в 70-х годах с теми мелкими эпизодами ее, которые неудобно было излагать в одно время с рассказом о главных родах его деятельности.